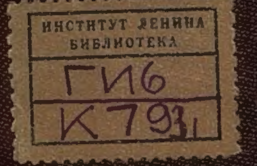
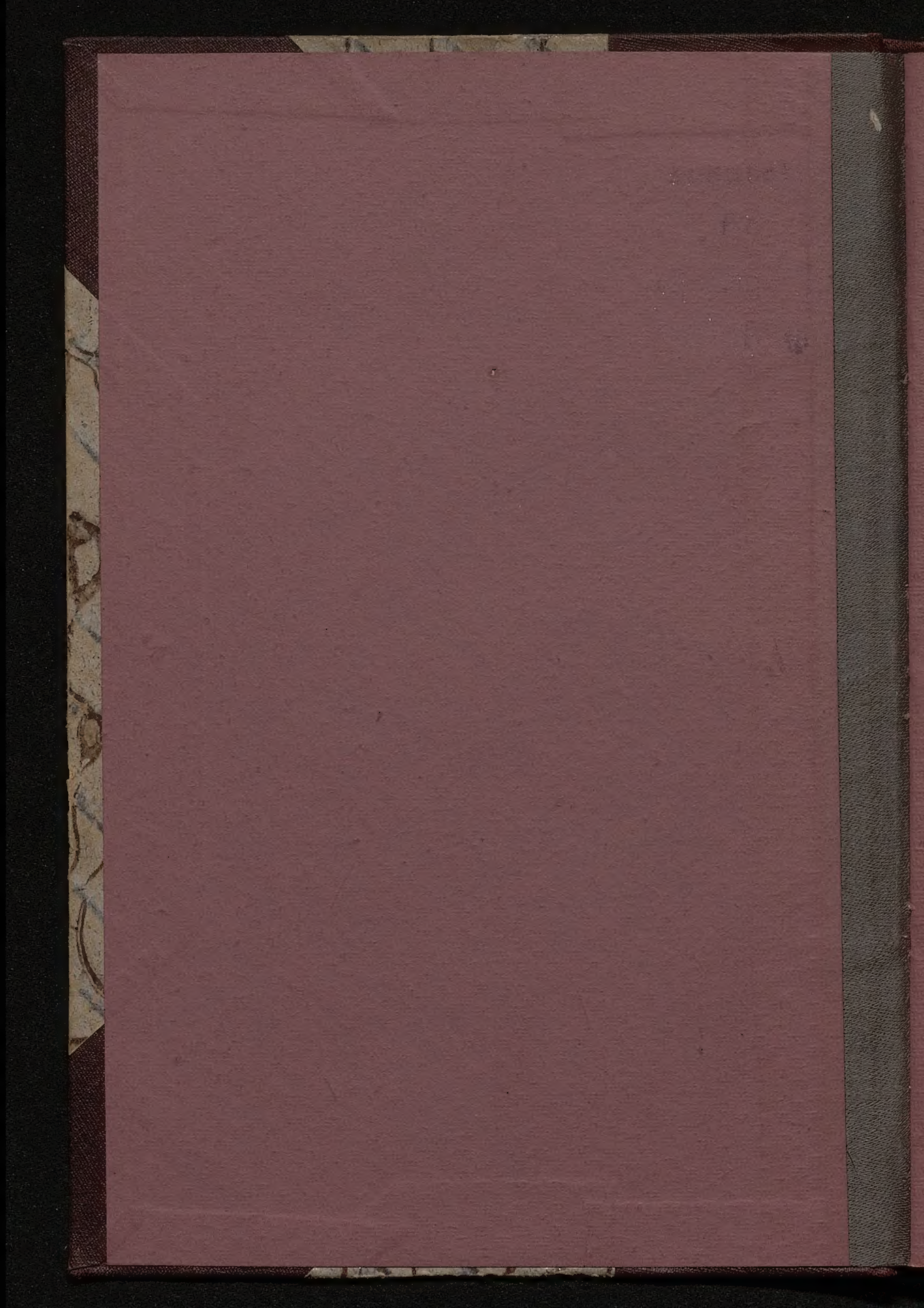
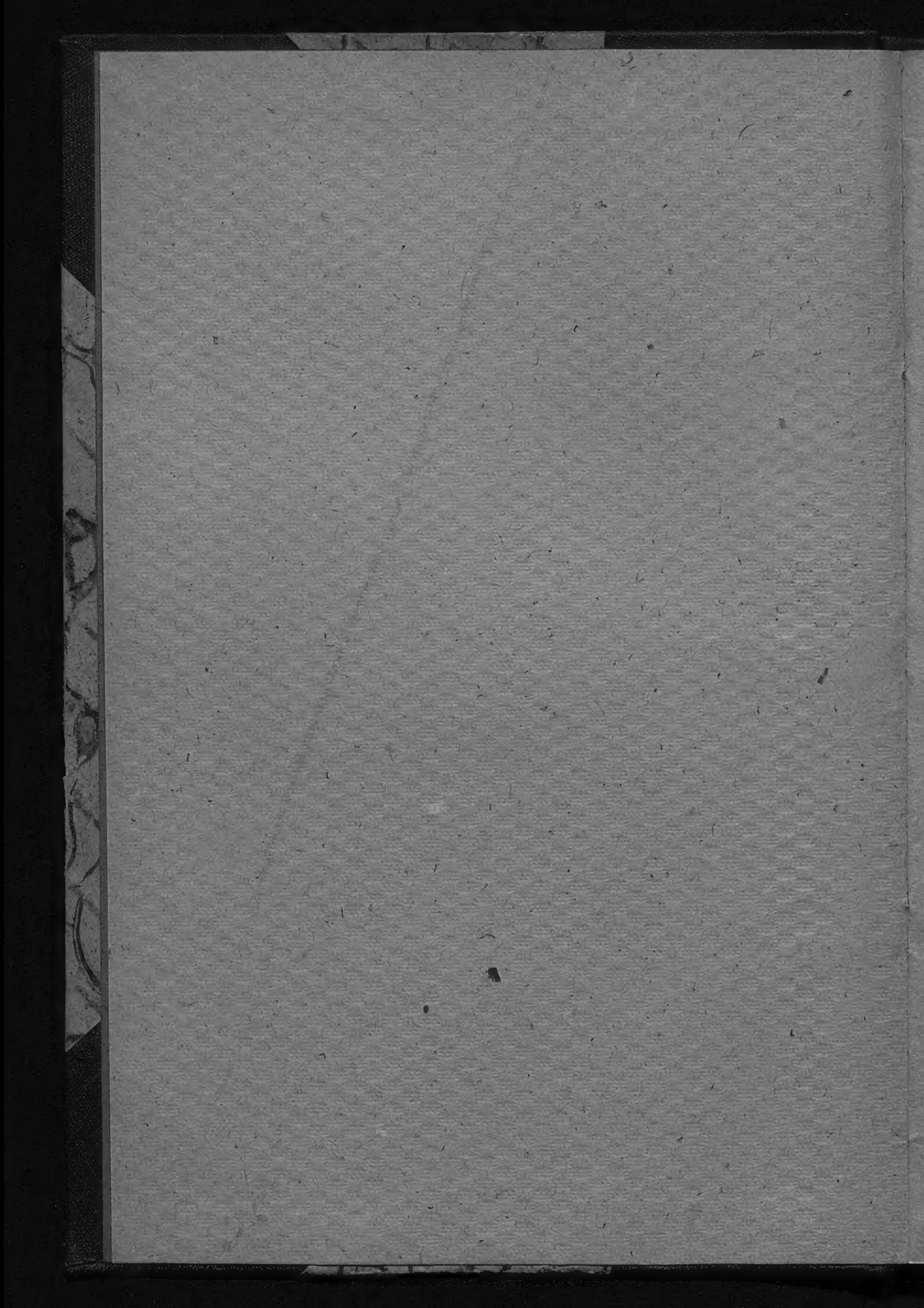
Краснов

НА ВНУТРЕННЕМ ФРОНТЕ







П. КРАСНОВ

НА ВНУТРЕННЕМ ФРОНТЕ

ЛЕНИНГРАД
«ПРИБОЙ»

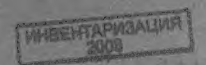
П. Н. КРАСНОВ

НА ВНУТРЕННЕМ ФРОНТЕ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ И ПОЯСНИ-
ТЕЛЬНЫМИ ПРИМЕЧАНИЯМИ
:: С. ПИОНТКОВСКОГО ::

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД :: 1925







Ленинградский Гублит № 18.658 Печ. 7.130—8 л. Зак. №1240.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Записки П. Н. Краснова интересны не только тем, что их автор донской генерал и атаман Всевеликого войска Донского времен гражданской войны, но и теми вопросами, теми событиями, которым они посвящены. Перу Краснова принадлежат воспоминания, охватывающие 1917 год, кончая Октябрьской революцией, и период его атаманства на Дону. В части воспоминаний, касающихся 1917 года, интересны три момента: описание состояния армии в период революции, корниловский поход и «Октябрь», вернее, попытка вооруженного сопротивления «Октябрю». Последние два момента являются поворотными, решающими моментами революции. В них генералу Краснову пришлось играть, во всяком случае, активную роль. Его наблюдения и замечания, его описания и воспоминания дают возможность представить, понять оценку событий так, как она представлялась активным врагам революции, узнать их действия и намерения.

В своем освещении событий Краснов не все рассказывает, кое-что скрывает, прикидывается армейским простачком, но все же говорит много интересного. Не все части воспоминаний одинаково ценны и интересны. Там, где генерал Краснов дает очерк состояния армии в период революции, он наименее интересен, хотя он присутствовал и наблюдал такие трагические картины, как убийство комиссара Временного правительства Линде взбунтовавшимися солдатами.

В своих об'яснениях причин охвативших армию процессов Краснов шаблонен по-генеральски. Все зло в комитетах, в приказе № 1, в падении старой дисциплины; в этом отношении Краснов говорит то же самое, что говорили и писали Корнилов, Деникин, Алексеев и другие генералы. Это шаблонное об'яснение мешает Краснову заметить и изобразить различные формы того процесса, который он и ему подобные называли распадом армии. Что армия вырывалась из рук командного состава, это армейские верхи чувствовали уже в 1916 году: росло количество дезертиров, появлялись случаи неповиновения, бунтов и т. д. Дезертирство — одна из

примитивных, стихийных форм протеста рабоче-крестьянского состава армии против тех целей, для достижения которых командующие классы сгоняли под знамена миллионы. По данным бывшей ставки, движение числа дезертиров с начала войны по 1-е августа 1917 г. можно изобразить в такой таблице:

Наименование фронтов.	До февральской революции.	После февральск. револ. до 15 мая 1917 года.	С 15 мая по 1 июня 1917 года.	С 1 по 15 июня 1917 г.	С 15 июня по 1 июля 1917 г.	С 1 по 15 июля 1917 г.	С 15 июля по 1 августа 1917 г.
Северный	49.055	25.724	1.806	1.436	2.986	2.663	1.732
Западный	13.648	24.700	5.660	3.246	5.294	6.159	3.393
Юго-западный . .	64.582	18.921	4.412	4.228	9.527	12.556	6.810
Румынский. . . .	67.845	16.576	4.464	2.303	1.487	2.054	1.870
Всего на всех фр .	195.130	85.921	16.342	11.213	19.294	23.432	13.805

Суммарные данные этой таблицы говорят прежде всего о том, что число дезертиров за время до революции больше, чем за время революции. Во-вторых, они указывают, что волна дезертирства в 1917 году стоит высоко в первый момент в марте, апреле, а потом неуклонно падает.

Сокращение числа дезертиров может быть частично отнесено на счет облегченного получения отпусков, а частью об'ясняется тем, что, на-ряду с падением стихийных форм протеста, в армии растут и развиваются новые формы, превращающие армию из орудия в руках буржуазии, в оружие в руках пролетариата. В армии разливается волна коллективных отказов повиноваться начальникам, по армии несется протест против войны. Солдатский состав, особенно в осенние месяцы 1917 года, начинает своими организациями забивать старый командный состав, брать его под контроль, даже в надежных воинских частях (это испытал на себе и сам генерал Краснов). На-ряду с этим, растет и влияние партии большевиков, а вместе с тем протест рабоче-крестьянского состава армии против эксплуатации ее буржуазией; борьба армии за мир принимает форму братания и идет под флагом большевиков. Таким образом, борьба в армии, в ее составе принимает разные формы: дезертирство, бунт, отрицание и неповиновение начальству, арест офицеров, рост влияния и значение комитетов, рост влияния большевиков, переход в их руки руководящего ядра солдатских организаций. За этим идет осуществление тактики большевиков в вопросах борьбы с буржуазным миром на практике — в армии растет «братание», поддержка советов. Все это — формы перехода от стихийного взрыва к сознательному, организованному, плано-

мерному движению к борьбе. Все это формы, с одной стороны, распада старого армейского аппарата, формы разрыва между командным организационным аппаратом и армейской массой. С другой стороны — это формы роста организации, кристаллизации нового аппарата руководства и организации, аппарата, идущего из недр самой армии, из толщи ее рабоче-крестьянского состава. Рост и крепость нового по своей классовой структуре командного аппарата обуславливались ростом, крепостью и широтой охвата и новой идеологии, обуславливались ростом влияния большевизма в армии. Примеры образования и борьбы всех этих форм раскиданы по воспоминаниям Краснова, но суть этого процесса для него была лишь в падении дисциплины, в разложении. С разложением армии Краснов энергично и настойчиво боролся. Он подробно описывает приемы и методы этой борьбы, как они практиковались им в подчиненной ему кавалерийской части.

В своей борьбе за сохранение старого строя армии Краснов, с одной стороны, старается экономически улучшить положение своих казаков, с другой—и это указание чрезвычайно интересно—он старается овладеть ими идеологически. Он сам ведет агитацию, собирая низший командный состав, проводит беседы на политические темы, учитывает социальный состав своей аудитории и старается использовать его для внедрения мысли о продолжении войны до победы и т. д. Но Краснов нигде не говорит: почему, с какой целью, на что надеясь, старался он удержать старую дисциплину в своей части. Он не говорит, были ли его мероприятия выступлением кустарным, или среди командных верхов уже тогда, в первые месяцы революции, существовал определенный контакт и шла подготовка к какой-то цели. О своих личных связях, о политических настроениях среди контр-революционного генералитета и офицерства Краснов не говорит, об этом он определенно умалчивает. Замалчивание этой стороны дела особенно резко бросается в глаза при изображении корниловского движения. Почему Краснову предложили ответственную роль в корпусе, ведущем под руководством Крымова наступление на Ленинград, почему он сразу, безоговорочно, не зная ни программы, ни действительных целей, ни организации, принял участие в корниловщине? Только потому, что он был солдат и привык повиноваться начальству, как это изображает он сам в своих записках. О внутренней структуре, об организации, о лицах, создавших корниловщину, Краснов не говорит ничего. В этой части он несомненно умалчивает и замалчивает. Касаясь выступления Корнилова, Краснов, главным образом, описывает свои приключения и встречи в погоне за своим корпусом, идущим в теплушках на Ленинград, да ту обстановку, то

отношение к корниловскому выступлению всех классов, которые ему пришлось наблюдать. Показания Краснова об этом особенно ценны именно потому, что их дает преданный Корнилову генерал, стойко пытавшийся осуществить на деле данные ему приказания. Классовая принадлежность и роль, какую играл Краснов в корниловском выступлении, делают не только интересными, но и исторически ценными показания Краснова о том, как отнеслись к движению III конного корпуса на Ленинград, прежде всего, сам корпус в его командном и солдатском составе, солдатская масса, командные верхи Северного фронта, рабочие — одним словом, показания о том, какова была среда, в которой двигался корпус, как она действовала на корпус и какими своими частями и как воспринимал и реагировал III конный корпус на это действие.

Рабочие железнодорожники были определенно против Корнилова. Перед солдатской и казачьей массой выступление Корнилова ставило ребром вопрос, с кем и за кем она. И Корнилов, и сторонники Временного правительства, и поддерживающий его Исполком обращались с целым рядом воззваний и раз'яснений к солдатскому составу армии. Нужно было решать, за кем итти, что делать, какую линию поведения принять. Краснов изображает и отмечает как этот вставший перед массами вопрос, так и попытку его разрешения. Интереснейшие страницы книги как раз те, где контр-революционный генерал невольно признает, что рабочие были против Корнилова, что корниловщина поставила во весь рост перед массами вопрос, с кем они, и солдатская масса решила, что с Советами. Корниловская армия распалась без боя, она рассосалась и рассыпалась, окруженная со всех сторон атмосферой упорной вражды. Наблюдая отрицательное отношение к своему движению со стороны рабочей и солдатской массы, подвергаясь непрестанному воздействию ораторов и агитаторов, корниловские войска, шедшие на Ленинград, остановились, зашатались и перешли на сторону пролетариата и крестьянства. Это состояние армии и отношение окружающей среды к двигающейся армии очень ясно, очень наглядно и резко изображено генералом Красновым.

Корнилова готовы были поддерживать офицеры; против него были солдаты — крестьяне и рабочие. Следствием корниловщины был рост влияния солдатских организаций и рост влияния большевиков. И тот и другой процессы отмечены в воспоминаниях. Таким образом, не давая ничего для освещения внутренней организации корниловского движения, воспоминания Краснова дают интересный и ценный материал для изучения и изображения той обстановки, в которой протекала корниловщина; они вскрывают отношение широких рабоче-

крестьянских масс к этому движению. Третий конный корпус двигался к Ленинграду по требованию Керенского. По крайней мере Савинков от его имени требовал переброски этого корпуса в Ленинград. Была мысль опереться на этот корпус в борьбе с советами и большевиками, обезоружить и разогнать Ленинградский гарнизон и издать ряд новых законов, удовлетворяющих требования буржуазии и Корнилова. Попытка Корнилова захватить власть с помощью корпуса не удалась, первая задача поддержки Временного правительства в борьбе с большевиками осталась невыполненной. И генерал Краснов, ставши во главе корпуса, после неудачной попытки выполнить задачу Корнилова, энергично принялся за подготовку к выполнению следующей задачи, к борьбе с выступлением большевиков. Это лишний раз подтверждает, что Краснов многое из того, что знал, скрывает, и что он отлично знал и был в курсе переговоров Корнилова с Керенским, в курсе подготовки и организации корниловщины. Об этом определенно говорит ряд обмолвок в воспоминаниях Краснова о роли Керенского. Корниловское выступление кончилось неудачей, Крымов застрелился, Краснов остался командиром III конного корпуса. За время его командования, до начала Октябрьской революции, интересна, с одной стороны, подготовка корпуса к будущей борьбе с большевиками, с другой, политика правительства по отношению к корпусу. Керенский все время пытается подтянуть корпус к Ленинграду, а чины штаба, учитывая будущую роль корпуса, отодвигают его из Царского села в Остров, а оттуда отдельными сотнями растаскивают в Псков, Ревель, по всему Северо-Западному фронту, тем самым ослабляя и уничтожая корпус, как боевую силу. К моменту «Октября» Краснов составил и подал доклад о предполагаемых действиях корпуса на случай борьбы с большевиками, в ответ на это он очутился в Острове почти без войска: весь корпус был разогнан частями по фронту. Но это не уничтожило боевого пыла генерала, и на весть об Октябрьской революции он ответил попыткой выступления.

Это самый интересный период, затронутый в книге. Поход Краснова на Ленинград и бой под городом описываются у ряда мемуаристов, о них говорят Керенский, Станкевич, Семенов в своих воспоминаниях, но показания этих лиц изображают или действия и выступления эс-эров и меньшевиков, или общеполитическую обстановку. Непосредственно боевую обстановку мемуаристы изображают мало. Краснов был назначен Керенским руководителем боевых операций, он был корпусным командиром, непосредственное руководство боями под Ленинградом было в его руках. В 1918 году Краснов издал описание своих действий под Ленинградом и свои боевые приказы под названием «Описание действий III

конного корпуса под Петроградом» (книга эта представляет большую библиографическую редкость). Воспоминания об этом периоде, данные Красновым в его мемуарах, в общем совпадают с тем, что дано в «Описании».

Воспоминания руководителя активных боевых операций против Октябрьской революции, руководителя операций в том месте, где решались судьбы революции, в высшей степени интересны и ценны исторически и имеют еще и сейчас крупный политический интерес. Воспоминания Краснова касаются двух больших групп вопросов — они дают характеристику армии, выступившей на защиту пролетарской революции, и характеристику армии, боровшейся за существование Временного правительства.

И та и другая армии по изображению Краснова—классовые армии. За революцию борются рабочие — красная гвардия и матросы. Краснов отмечает огромное численное превосходство армии революции. «Октябрь» бросил на фронт против Краснова огромные массы рабочих, матросов и солдат. За Красновым шли казаки, офицеры, единичные добровольцы из буржуазии, студенты, гимназисты. Армия Краснова, количественно слабая, состояла из привилегированных классов да из немногих сотен казаков. Эта буржуазная армия была окружена атмосферой вражды — рабочие, солдаты были на стороне революции или держали вооруженный нейтралитет, отказываясь помогать красновским войскам; в самой армии была сильная струя колеблющихся и сочувствующих пролетарскому восстанию. Командный состав Красновской армии, шедший с Керенским на штурм революции, был настроен более чем отрицательно к Керенскому — офицеры считали себя корниловцами, а Керенского они считали предателем Корнилова и почти большевиком.

В армию Краснова из Ленинграда по очереди явились Керенский, Станкевич, Савинков, Гоц. Из Ставки приехал представитель французского командования, армия вела непрерывные сношения с союзом казачьих войск и контр-революционными силами Ленинграда. С армией корниловцев блокировались и эс-эры и представители народных социалистов. Но, блокируясь с Красновым, они не блокировались с Керенским, и в войсках Краснова Савинков и корниловские офицеры одинаково дружно предлагали арестовать Керенского, а в Ленинграде союз защиты родины и свободы заявлял, что борьба ведется за новое Временное правительство без Керенского. В момент боя различные группировки имущих классов, выступившие против пролетарской революции, не смогли и не сумели организоваться, не сумели создать организованной, вооруженной силы, и тысячные отряды рабочих-красногвардейцев и солдат поглотили и рассосали колеблю-

щиеся ряды армии Краснова. Описание конца красновского движения, момента сдачи им своих позиций тенденциозно и неверно: в бессильной ненависти Краснов пытается дать глупую карикатуру на тов. Троцкого; поведение тов. Дыбенко в изображении Краснова совершенно не соответствует тому, что известно о роли его в Октябрьских боях под Ленинградом из воспоминаний других, менее пристрастных мемуаристов. С прекращением боев под Ленинградом кончилась и роль Краснова в истории революции 1917 года. Лишь один факт, стоящий на рубеже между этим периодом и периодом Донским, бросает тень на историческую достоверность воспоминаний атамана. Выпущенный большевиками на волю, Краснов занялся ликвидацией дел корпуса, т.-е. переброской на Дон материального снаряжения, оружия и людей.

Это показывает, что Краснов не только завязал связи с Доном, но знал, что там готовится, и, дважды разбитый под Ленинградом, в августе — при Корнилове, в октябре — при Керенском, готовился к новым боям, стягивая и собирая силы на Дон.

Воспоминания Краснова написаны живым, литературным языком, читаются легко. Они интересны по содержанию. Как исторический источник, воспоминания вообще требуют к себе крайне осторожного отношения. При пользовании воспоминаниями Краснова надо иметь в виду, что это воспоминания генерала, злейшего врага пролетарской революции. Необходимо все время помнить, что Краснов не рассказывает о том, что творилось в организационных центрах контр-революции, кто и какую роль играл в них, какова была роль самого автора воспоминаний. Краснов предпочитает давать описание общего фона событий, и здесь ему удается передать движение, динамику жизни. Правда, смысл в это движение он вкладывает свой, факты об'ясняет по-своему, но факты — упрямая вещь, и через генеральское об'яснение голос фактов говорит о том, как массы рабочих и крестьян шли на штурм позиции буржуазии, снося и уничтожая на своем пути те преграды, которые пробовали построить для них генералы, отставные министры, бывшие террористы, безработные офицеры и прочие представители «живых сил страны», группировавшиеся вокруг временных правительств всех составов эпохи 1917 года.

С. Пионтковский.

Воспоминания ген. Краснова перепечатываются нами полностью, без всяких сокращений и изменений.

I.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ.

В апреле 1917 года 2-ю Сводную казачью дивизию, которой я командовал около двух лет и с которою был почти все время в боях, сменила на позиции под Пинском 172-ая пехотная дивизия, и ее отвели в тыл, на отдых. Я тогда же, решил подать рапорт об увольнении меня в отставку. Новые порядки, введенные Временным правительством, отсутствие какой бы то ни было власти у начальников, передача в руки комитетов всех полковых дел быстро расшатывали армию. Пока дивизия стояла на позиции, в непосредственной близости к неприятелю, она держалась. Наряд исполнялся правильно, офицеров слушались, форму одежды соблюдали. 10 апреля к нам в дивизию приезжал князь Павел Долгоруков, член к.-д. партии [1]. Он осмотрел собранную для этого случая Донскую бригаду — 16-й и 17-й Донские полки — и сказал весьма патриотическую речь. На речь отвечали я и начальник штаба IV кавалерийского корпуса, генерал-майор Черячукин [2], а затем один урядник 16-го полка, который от имени казаков клялся, что казачество не положит оружия и будет драться до последнего казака с немцами, — до общего мира в полном согласии с союзниками. Кн. Павел Долгоруков ездил со мною в окопы, занятые пластунским дивизионом. Он присутствовал при смене пластунов с боевого участка, видел их жизнь в окопах и был поражен их выправкою, чистотою одежды, молодцеватыми ответами и знанием своего дела. Все это он мне высказал в самой лестной форме и потом задумчиво добавил:

— Если бы это было так во всей армии!..

— А что? — спросил я.

Мы на позиции были далеки от жизни. В гости к нам никто не приезжал, письма политики не касались, газеты были старые. Мы верили, что великая бескровная революция прошла, что Временное правительство идет быстрыми шагами к Учредительному собранию, а Учредительное со-

брание — к конституционной монархии с великим князем Михаилом Александровичем во главе [3]. На совет солдатских и рабочих депутатов смотрели, как на что-то вроде нижней палаты будущего парламента.

— Я видел Московский гарнизон, — сказал кн. Долгоруков. — Он ужасен. Никакой дисциплины. Солдаты открыто торгуют форменною одеждою и дезертируют. Армия вышла из повиновения. Спасти может только наступление и победа.

— И наступление не спасет, — отвечал я, — потому что такая армия победы не даст.

Я помню, что тогда же меня спросили, как я смотрю на переход в наступление революционными войсками, с комитетами во главе. Я ответил, что, как русский человек, я очень хотел бы, чтобы оно завершилось победою, но, как военному, сорок лет верившему в незыблемость принципов военной науки, мне будет слишком больно сознавать, что я сорок лет ошибался.

Как только казаки дивизии соприкоснулись с тылом, они начали быстро разлагаться. Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Например, требовали разделить суммы, хранящиеся в денежном ящике (16-й Донской полк), выдать в постоянную носку обмундирование 1-го срока, с великими трудами заготовленное для 1918 года (почти все полки), требовали, чтобы офицеры, приходя на учение, здоровались с каждым казаком за руку (1-й Волгский полк), увеличения числа отпускных казаков. Все эти требования отклонялись, но казаки сами стали проводить их в жизнь. 16-й Донской казачий полк разобрал полковые цейхгаузы и вырядился во все новое, когда и старое было хорошо. Примеру его частично последовали и другие полки. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Масса в четыре с лишним тысячи людей, большинство в возрасте от 21 до 30 лет, т.-е. крепких, сильных и здоровых, притом не втянутых в ежедневную тяжелую работу, болтались целыми днями без всякого дела, начинали пьянствовать и безобразничать. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не хотели и слышать.

— Мы сами такие же, как офицеры, — говорили они,— не хуже их.

Потребовать и восстановить дисциплину было невозможно. Все знали,—потому что многие казаки были этому очевидцами, — что пехота, шедшая на смену кавалерии, шла с громадными скандалами. Солдаты расстреляли на воздух данные им патроны, а ящики с патронами побросали в реку Стырь, заявивши, что они воевать не желают и не будут.

Один полк был застигнут праздником святой Пасхи на походе. Солдаты потребовали, чтобы им было устроено розговение, даны яйца и куличи. Ротные и полковой комитет бросились по деревням искать яйца и муку, но в разоренном войною Полесье ничего не нашли. Тогда солдаты постановили расстрелять командира полка за недостаточную к ним заботливость. Командира полка поставили у дерева, и целая рота явилась его расстреливать. Он стоял на коленях перед солдатами, клялся и божился, что он употребил все усилия, чтобы достать розговение, и ценою страшного унижения и жестоких оскорблений выторговал себе жизнь. Все это осталось безнаказанным, и казаки это знали.

Меня на ст. Видибор, 4-го мая, на глазах у эшелонов 16-го и 17-го Донских полков, арестовали солдаты и повели под конвоем со стрельбою вверх в Видиборский комитет. Там меня обвинили в том, что я принадлежу к числу тех генералов, которые ради помещиков и иностранных капиталистов настаивают на продолжении войны. Одним из обвинителей был казак 17-го Донского казачьего полка Воронков. Потом меня под конвоем же отправили в Минск, где меня должен был судить какой-то трибунал при армейском комитете. На мое заявление, что есть начальство, которое, если я в чем виноват, будет меня судить, и что никто не смеет задерживать меня при исполнении служебных обязанностей, — мне нагло было заявлено, что единственное начальство, которое они признают, это местный Видиборский комитет, а на главнокомандующего им плевать. Комитет выше главнокомандующего. В Минске, однако, мои конвойные растерялись, дали мне возможность повидать коменданта станции, передать о всем случившемся в штаб Западного фронта, меня доставили к главнокомандующему фронтом, генералу от кавалерии Гурко, который меня сейчас же освободил и отправил к дивизии.

Все это осталось без наказания. Стоило только начальству возбудить какое-либо дело против солдата, как на защиту его поднимались комитеты. В ротах собирались митинги, солдатская масса волновалась, и начальство испуганно бросало дело.

Пехота, сменявшая нас, шла по белорусским деревням, как татары шли по покоренной Руси. Огнем и мечом солдаты отнимали у жителей все с'естное, для потехи расстреливали из винтовок коров, насиловали женщин, отнимали деньги. Офицеры были запуганы и молчали. Были и такие, которые сами, ища популярности у солдат, становились во главе насильнических шаек.

Ясно было, что армии нет, что она пропала, что надо, как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням эту сошедшую с ума массу.

Я писал рапорты вверх: вверху — ближайшее строевое начальство — командир корпуса, те, кто имеет непосредственное отношение к солдату, встречали их сочувствием, но выше, в штабе Особой Армии—генерал Балуев, в военном министерстве, во главе которого стал А. Ф. Керенский [4], к ним относились скептически.

— К этому надо привыкнуть, — говорили там. — Создается армия на новых началах, «сознательная» армия. Без эксцессов такой переворот обойтись не может. Вы должны во имя родины потерпеть.

Я горячо любил свою дивизию, свидетельницу стольких славных побед. Я стал собирать офицеров, комитеты и казаков, вести с ними горячие, страстные беседы, возбуждая в них прежнее полковое и войсковое самолюбие, напоминая о великом прошлом и требуя образумиться.

«Правильно! правильно!» — раздавались голоса; толпа как будто бы понимала и сознавала ошибки свои, хотела стать на правильный путь, но уходил я, раздавался чей-нибудь бесшабашный голос: — «Товарищи!— это что же, генерал-то нас к старому режиму гнет! Под офицерскую, значит, палку!» — и все шло прахом.

В голове все решили, что война кончена. — «Какая нонче война! — нонче свобода!»

Это звучное славное слово стало синонимом самых ужасных насилий.

Мне было совестно получать жалованье за то, что я ничего не делал и жил своею жизнью, и я поехал в штаб Особой Армии настаивать на отставке.

Однако, командующий Армией, генерал Балуев, моей отставки не принял, основываясь на приказе Керенского, никого из лиц командного состава от службы не увольнять, но, понявши, что мне оставаться в дивизии, где авторитет мой был поколеблен, нельзя, предложил мне принять в командование 1-ую Кубанскую дивизию.

10-го июня я прибыл в дивизию, расположенную в окрестностях города Мозыря.

II.

В 1-Й КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИИ. КАЗАЧЬИ НАСТРОЕНИЯ.

1-я Кубанская казачья дивизия была второочередная, составленная преимущественно из казаков старших сроков службы. Она сильно пострадала вследствие бескормицы и плохого снабжения. Люди были оборваны. Много было

босых. Лошади истощали до такой степени, что лежали и не могли подняться. Казаки голодали. Такое очень тяжелое положение было весьма выгодным для меня. Заботливостью об улучшении материального состояния дивизии я надеялся привлечь сердца казаков к себе и восстановить порядок и дисциплину.

Надо отдать справедливость — все мне пошли навстречу в этом деле. Командующий Армией приказал отпустить мне вне очереди сапоги, шаровары, рубахи и шинели для казаков, довольствие было улучшено. Мозырское земство и окрестные помещики приложили все усилия, чтобы дать наилучшее размещение полкам и выкормить лошадей. От Кубанского войска удалось добиться пополнений. Все полковые суммы, которые на счастье оказались в целости, были мобилизованы, и заведующие хозяйством с представителями от комитетов поехали кто в Киев, кто в войско заказывать для казаков бешметы и черкески, которых они давно не видали.

Эти хозяйственные заботы отвлекли казаков от пустой митинговой болтовни, и дивизия имела серьезный, домовитый, хозяйственный вид. Сотенные и полковые комитеты совещались с офицерами, как лучше, экономичнее и богаче одеть и снабдить казаков. Когда же снабжение начало приходить, а лошади поправляться и делаться сытыми, я почувствовал, что между мною и полками установилась та связь, которая до некоторой степени походила на дисциплину.

До революции и известного *приказа* № 1[5], каждый из нас знал, что ему надо делать, как в мирное время, так и на войне. День был расписан по часам, офицеры и казаки заняты, ни скучать, ни тосковать было некогда. Когда стояли в тылу «на отдыхе», и тогда постепенно, после исправления всех материальных погрешностей, начинали занятия, устраивали спортивные праздники и состязания, к которым нужно было готовиться, солдатские спектакли, пели песенники и играли трубачи — день был полон, он нес свои заботы и свое утомление, полковая машина вертелась, и каждый что-нибудь да делал. Лодыри преследовались и наказывались. Лущить семячки было некогда. После революции все пошло по-иному. Комитеты стали вмешиваться в распоряжения начальников, приказы стали делиться на боевые и небоевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду тогда выражению, **постольку-поскольку.** Безусый, окончивший четырехмесячные курсы, прапорщик, или просто солдат — рассуждал, нужно или нет то или другое учение, и достаточно было, чтобы он на митинге заявил, что оно ведет *к старому режиму*, чтобы часть на занятие не вышла, и началось бы то, что тогда

очень просто называлось ***эксцессами***. Эксцессы были разные — от грубого ответа до убийства начальника, и все сходили совершенно безнаказанно.

Дивизия принимала сытый и довольный вид, и было нужно ее занять. Но начать занятия надо было очень осторожно. Я решил повести их двух видов — беседы и маневры в поле. Беседы я вел лично с офицерами и членами комитетов, а те передавали их в сотнях. Казаков больше всего интересовали вопросы «данного политического момента», и, конечно, земля, земля и земля... Вот эти-то вопросы и пришлось затронуть и притом настолько осторожно, чтобы не обратить беседу в митинг, что было недопустимо, потому что подорвало бы дисциплину. Офицеры явились для меня великолепными помощниками. Я начал с об'яснения различного устройства государств и образа правлений. Я слышал, как казаки совершенно серьезно говорили о республике с царем, или о монархии, но без царя и т. п. Потом я изложил программы политических партий, цели настоящей войны, рассказал о назначении Босфора и Дарданелл [6], что особенно должно было заинтересовать кубанцев, ведущих торговлю хлебом с Марселью, вкратце изложил историю казачества и значение казаков для России, показал им на примитивных, от руки сделанных чертежах, взаимное соотношение казачьих войск и доказал географическую невозможность создания самостоятельной казачьей республики, о чем мечтали многие горячие головы, даже и с офицерскими погонами на плечах. Говорил и о патриотизме, о победе — и, казалось, увлек казаков. Митинги с истеричными речами прекратились и сменились тихими, разумными беседами с офицерами; беседы эти нравились казакам. Сколько я мог судить, большинство склонялось к тому, чтобы Россия была конституционной монархией или республикой, но чтобы казаки имели широкую автономию. Очень остро ставился земельный вопрос, но и тут принципы кадетской программы имели перевес. «Так, дескать, будет прочнее и вернее».

Маневры, которые я вел параллельно с беседами и делал неутомительными (2—6 часов), вначале тоже нравились, но тут к великому огорчению своему я наткнулся на *отрицание войны*. Война шла кругом. В двадцати верстах от нас была позиция. Очень редкий, правда, орудийный огонь был слышен на наших биваках, когда мы перешли в селение Тростенец. Мы знали, что на юге было наступление [7], руководимое Корниловым [8] и Керенским и закончившееся позорным бегством наших, но, тем не менее, когда на маневрах я обучал резать проволоку, метать ручные гранаты, врываться в окопы, а потом бросаться в конном строю в преследование, — я слышал раз-

говоры, — что «нам этого делать не придется. Война кончена!»

Она шла кругом, но революция так сильно потрясла души казаков, что в них уже не укладывалась с понятием о гражданской свободе — необходимость сражаться и умирать за родину. И это было ужасно.

Во 2-м Уманском, 2-м Полтавском и 2-м Запорожском полках занятия шли особенно хорошо. Занимались для выправки, здоровья и бодрости даже сокольскою гимнастикой под музыку. Несколько туже шло дело во 2-м Таманском полку. Во всей дивизии было установлено правило приветствовать друг друга отданием чести. Переход на новые места — около 200 верст — дивизия, по моему настоянию, сделала не по железной дороге, а походом, при чем походом шел и стрелковый ее дивизион. Весь поход прошел в образцовом порядке, нигде не было жалоб жителей на обиды и притеснения. Казаки, напротив, щеголяли ласковостью и предупредительностью к крестьянам.

Несмотря на все эти внешние успехи, на душе у меня было смутно. Я не обольщался этим. Глубоко зная казака и солдата, с которым прожил одной жизнью 34 года, я почувствовал, что все это непрочно. Это было баловство — игра в солдатики. Настанет час великого испытания, заскрежещут и завоют в небе снаряды, налетят с бомбами аэропланы, запоют пули, и никакими разговорами, никакими беседами я не заставлю их итти вперед, все разбежится и исчезнет, предавши офицеров. Не было страха перед исполнением приказа, или команды, того страха, который,— странное дело,—сильнее страха смерти. Не было совести и стыда. Я вспоминал, как раньше того, что я шел сзади цепей и покрикивал: «Вперед! Вперед! Ничего! Вперед!», было достаточно, чтобы командуемый мною полк бросился на штурм укрепленной позиции. А бросились бы эти? — спрашивал я, глядя на них, мокнущих на походе под дождем. Я видел недовольные, злые лица, и отвечал: — нет, не бросились бы. Раньше казаку или солдату стыдно было показать, что он голоден, страдает от жары или холода, или промок—при пропускании колонны мимо себя, я видел в таких случаях веселые, как бы над самим собою смеющиеся лица, и на вопрос: — «что, холодно?» — слышал веселый, бодрый ответ: — «никак нет!», иногда сопровождаемый какой-либо острой солдатской шуткой над самим собою. Теперь этого не было. Всякое лишение, всякое неудобство вызывало косые, мрачные взгляды. Они стали «барами», «господами», они искали комфорта и радости жизни, — а это уже не солдаты и не казаки.

Внешне полки были подтянуты, хорошо одеты и выправлены, но внутренне они ничего не стоили. Не было над

ними «палки капрала», которой они боялись бы больше, нежели пули неприятеля, и пуля неприятеля приобретала для них особое страшное значение.

Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной. Ведь, рухнуло все, чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение пятидесяти лет — погибла *армия.*

И все-таки надеялся. Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется былая удаль—и мы еще сделаем дела и спасем Россию от иноземного порабощения.

Больше всего я боялся тогда, что казаков станут употреблять на различные *усмирения* неповинующихся солдат. Ничто так не портит и не развращает солдата, как война со своими, расстрелы, аресты и т. п. Бывая у своего командира корпуса, генерал-лейтенанта Я. Ф. Гилленшмидта, с которым я был в приятельских отношениях и на «ты», я постоянно просил его поберечь в этом отношении дивизию и не посылать ее с карательными целями.

Просьба была не напрасная. По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и итти на позицию на смену другим полкам, были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника, под тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь неприятеля. Война замирала по всему фронту, и Брестский мир [9] явился неизбежным следствием приказа № 1 и разрушения армии. И если бы большевики не заключили его, его пришлось бы заключить Временному правительству.

20 августа меня вызвали в штаб Особой Армии, в Домбровицу. Я застал вр. командующего армией, генерала Эрдели [10], в большой тревоге. Командующий армией и штаб опасались, что их же войска могут арестовать и убить их. Меня спрашивали, насколько в этом отношении надежны казаки дивизии и станут ли они на защиту начальства от своих солдат.

Что я мог ответить, оставаясь совершенно честным?

Я мог сказать только подлое слово, рожденное этим страшным временем: — «постольку-поскольку».

Казаки будут нести честно караульную службу, они не заснут на часах, они не допустят единичных людей, в равном числе они будут драться, но если на них навалится *сила,* если их много будет убито и ранено — я за них не ручался.

Скоро пришлось с печалью убедиться, что я не ошибался.

В тылу, в глухой деревне, вдали от железной дороги, где я жил, мы очень мало знали о том, что происходило в России. Смутно слышали, что Верховный Главнокомандующий Корнилов требует полного восстановления дисциплины

в армии, возвращения офицерам и урядникам прежней дисциплинарной власти, восстановления полевых судов и смертной казни за целый ряд преступлений. Это было приказано об'явить в полках. Собранные мною с этой целью офицеры и полковые комитеты дивизии разно восприняли это известие. Офицеры радовались этому, потому что видели в этом возрождение армии и ее боеспособности, солдаты и казаки повесили головы.

— Это, значит, опять к старому режиму, — печально говорили казаки. — Значит, прощай свобода! Не отдал чести, али коня не почистил, как следует, и становись в боевую.

Солдаты встревожились еще решительнее.

— Этому не бывать. Корнилов того хочет, а мы не хотим. Довольно!

Имя Корнилова становилось популярным в офицерской среде, офицеры ждали от него чуда — спасения армии, наступления, победы и мира, — потому что понимали, что продолжать войну больше уже нельзя, но и мира получить без победы тоже нельзя. Для солдат имя Корнилова стало равнозвучным—смертной казни и всяким наказаниям. «Корнилов хочет войны, — говорили они, — а мы желаем мира».

Но о том, что Корнилов ради спасения России хочет захватить власть в свои руки, что он хочет стать диктатором, — никто не думал. И не только казаки и офицеры или я, но даже и командир корпуса об этом не подозревал.

Об июльских днях [11] в Петрограде и попытке большевиков захватить власть мы знали мало. «Были беспорядки», — говорили в дивизии, и больше интересовались тем, кто убит и ранен, так как были между ними и знакомые, но о роковом значении начавшейся борьбы за власть во время войны мы не думали. Слишком были заняты своими злободневными текущими делами.

И потому, когда, 24 августа, я получил от генерал-майора Д. П. Сазонова, бывшего помощника Походного Атамана великого князя Бориса Владимировича, телеграмму: — «23 августа, 16 часов 57 минут. Наштаверх приказал представить вас назначению коман. кор. третьего конного. Будьте готовы по телеграмме выехать к корпусу. Прошу заехать Ставку Штабатаман 10111. Генерал Сазонов, — она меня только удивила. По имевшимся у меня частным сведениям, 3-й кавалерийский корпус, которым командовал генерал Крымов [12], находился где-то в Херсонской губернии, в районе города Ананьева, и ехать в него через Ставку мне было совсем не по пути. О том, что 3-й кавалерийский корпус уже перебрасывался к Петрограду, мы в своей деревенской глуши и не подозревали.

Будь это назначение в старое дореволюционное время, оно меня, конечно, страшно обрадовало бы. III кавалерий-

ский корпус, бывший раньше под командою гр. Келлера [13], пользовался необыкновенно громкой боевой репутацией. Я имел счастье в рядах этого корпуса командовать 10-м Донским казачьим полком и принять участие в громкой победе корпуса над австрийцами у селений Баламутовка, Малицы, Ржавенцы и Топоруц, где мы захватили более 6.000 пленных и большую добычу. 1-я Донская дивизия, входившая в состав этого корпуса, была для меня родной дивизией. Я в ней командовал полком в мирное время в Замостьи и с нею проделал весь поход 1914 года и до конца апреля 1915 года. Все офицеры и даже казаки этой дивизии были не только моими боевыми товарищами, но, смело скажу, — были моими друзьями. Иметь ее в своем корпусе по-настоящему— это было бы величайшим счастьем.

Теперь, при общем развале армии и крушении всех идеалов, это давало только новые огорчения и разочарования, а главное задерживало меня на военной службе, которая при том характере, который она приняла, становилась мне противной и лишала меня возможности уйти в отставку...

Но, прежде, чем отправиться в Ставку, мне пришлось пережить несколько тяжелых часов и убедиться в том, что я не ошибся, считая, что полки моей дивизии уже неспособны выдержать сколько-нибудь сильное испытание.

III.

БУНТ 3-Й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ. УБИЙСТВО КОМИССАРА ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА Ф. Ф. ЛИНДЕ [14].

В ту же ночь, 24 августа, мне лично из штаба корпуса было передано по телефону, что полки пехотной дивизии, стоявшей на позиции у селения Духче в 18 верстах от моего штаба, отказываются исполнять боевые приказы по укреплению позиции, что ими руководит несколько весьма зловредных агитаторов, которых надо из'ять из ее рядов. На переданное требование выдать этих агитаторов солдаты 444-го пехотного полка ответили отказом. Надо их заставить выдать. Командир корпуса считает, что достаточно будет назначить один полк с пулеметной командой.

Передавший мне приказание за начальника штаба корпуса полковник Богаевский добавил:

— Командир корпуса очень хотел бы, чтобы вы лично поехали с полком. Вероятно, все обойдется благополучно. Туда приедет комиссар фронта Линде, который все это и сделает. Вы нужны только для декорации. Солдаты должны видеть часть в полном порядке.

Я назначил 2-й Уманский полк, лучше других обмундированный, внешне выправленный, а, главное, ближе расположенный к селению Духче. С полком, кроме командира пол-

ка, полковника Агрызкова, пошел и командир бригады, смелый и решительный кавказец, генерал-майор Мистулов. В 7 часов утра я приехал в деревню Славитичи, где был полк, и нашел его в полном порядке. Люди были отлично одеты, лошади вычищены, но, об'езжая взвод и вглядываясь в лица казаков, я встречал хмурые, косые взгляды и видел какую-то растерянность. Об'яснивши казакам нашу задачу, я сказал им, что от их дисциплинированности, от их бодрого внешнего вида в значительной степени зависит и успех самого предприятия.

— Солдаты, — сказал я, — должны понять, что они ошибаются. В вас они должны видеть не врагов, но старших товарищей, понимающих долг службы и присяги!

— Постараемся, господин генерал, — ответили казаки. Было решено, что мы придем в Духче с музыкой и песнями.

Когда полк тронулся, я спросил у командира полка: — «Как настроение казаков?» — Увы, в эти ужасные дни приходилось задавать этот, такой дикий полгода тому назад, вопрос о настроении, как справляются о настроении капризной женщины или больного.

— Ничего, — отвечал мне Агрызков. — Я думаю, свое дело сделают. Офицеры хорошо с ними говорили.

В 10 часов утра мы прибыли в селение Духче, где нас ожидал начальник пехотной дивизии, генерал-лейтенант Гиршфельдт. Он направил казаков к пехотному биваку, приказавши окружить его со всех сторон, оставить одну сотню в его распоряжении. Вид уманцев, проходивших с музыкой и песнями, привел его в восторженное умиление. Смотревшие на казаков писаря и чины команды связи дивизии тоже, видимо, были поражены их видом и отзывались о казаках с одобрением.

— Настоящее войско! — говорили они. — Значит, есть, сохранилось!...

Я остался в штабе с Гиршфельдтом ожидать комиссара Линде. Если я не ошибаюсь, Линде был тот самый вольноопределяющийся л.-гв. Финляндского полка, который 20-го апреля вывел полк из казарм и повел его к Мариинскому дворцу требовать отставки Милюкова.

Около 11 часов утра на автомобиле из г. Луцка приехал комиссар фронта Ф. Ф. Линде. Это был совсем молодой человек. Манерой говорить с ясно слышным немецким акцентом, своим отлично сшитым френчем, галифе и сапогами с обмотками, он мне напомнил самоуверенных, юных немецких барончиков из прибалтийских провинций, студентов Юрьевского университета. Всею своею молодостью, легкою фигурою, задорным тоном, каким он говорил с Гиршфельдтом, он показывал свое превосходство над нами, строевыми начальниками.

— Ну, еще бы, — говорил он, манерно морщась на доклад Гиршфельдта, что все его увещания не привели ни к чему и виновные все еще не выданы. — Они вас никогда не послушают. С ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом.

Он был в нервном, сильно возбужденном настроении. Его тешило то внимание, которое обращали на него высыпавшие толпами на улицы деревни солдаты.

— Комиссар! Комиссар! — слышалось по рядам, и он медленно, рисуясь, садился в автомобиль с Гиршфельдтом. Я ехал сбоку автомобиля верхом.

Виновный 444-й полк был расположен в дивизионном резерве на небольшой лесной прогалине. Часть землянок была на прогалине, часть теснилась по краям прогалины в самом лесу. С прогалины шли две дороги. Одна на деревню Духче, другая через болотистую часть на позицию, которая была занята 443-м пехотным полком.

Когда мы под'езжали, казаки уже окончили окружение бивуака 444-го полка. Они выставили заставу с пулеметами по направлению к позиции. Они сидели на лошадях с обнаженными шашками и, казалось, готовы были ринуться на пехоту.

Командир пехотного полка встретил нас у края бивака и сообщил, что солдаты очень напуганы появлением казаков и собираются поротно, ружей не разбирают. Зачинщики ему названы.

Гиршфельдт и Линде вышли из автомобиля. Был очень жаркий полдень. Солнце высоко стояло на синем небе, в лесу пахло хвоею, можжевельником. У землянок раздавались крики офицеров, приказывавших выходить всем до одного и строиться поротно. Некоторые роты уже были готовы и строем сводились в батальонные колонны. Я и Мистулов сошли с лошадей и следовали пешком в некотором отдалении за Линде и Гиршфельдтом.

— Вот вторая рота (если память мне не изменяет), — сказал командир полка. — Она главная зачинщица всех беспорядков.

Линде вышел вперед. Лицо его было бледно, но сильно возбуждено. Он оглянул роту гневными глазами, и сильным, полным возмущения голосом начал говорить. Я почти дословно помню его речь.

— Когда ваша Родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага, — отрывисто, отчетливо говорил Линде, и его голос отдавало лесное эхо, — вы позволили себе лентяйничать и не исполнять справедливые требования своих начальников. Вы не солдаты, а сволочь, которую нужно уничтожить. Вы зазнавшиеся хамы и свиньи, недостойные свободы. Я, комиссар Юго-Западного фрон-

та, я, который вывел солдат свергнуть царское правительство, чтобы дать вам свободу, равной которой не имеет ни один народ в мире, требую, чтобы вы сейчас же мне выдали тех, кто подговаривал вас не исполнять приказа начальника. Иначе вы ответите все... И я не пощажу вас!

Тон речи Линде, манера его говорить и начальственная осанка сильно не понравились казакам. Помню, потом мой ординарец, урядник, делясь со мною впечатлениями дня, сказал: «Они, господин генерал, сами виноваты. Уже очень их речь была не *демократическая*. Вы с нами никогда так не говорите и не ругаетесь. Да и вам бы простили. А он, что — свой же брат солдат, член Исполнительного Комитета, а все сыплет, свиньи, да сволочи... Сам-то кто? Немец притом. Может быть, солдаты его за шпиона приняли».

Когда Линде замолчал, рота стояла бледная, солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того ожидали от «своего» комиссара.

— Ну, что же! — грозно сказал Линде и пошел вдоль фронта зачинщиков. Выходившие были смертельно бледны, тою зеленоватою бледностью, которая показывает, что человек уже не в себе. Это были люди большей частью молодые, типичные горожане, может быть рабочие, вернее, люди без определенных занятий. Их набралось двадцать два человека.

— Это и все? — спросил Линде.

— Все, — коротко ответил командир полка.

Один из вызванных начал что-то говорить. Линде бросился к нему:

— Молчать! Сволочь! Негодяй! После поговоришь.

— Возьмите их, — сказал он сопровождавшему его казачьему офицеру.

— Не выдадим!.. Товарищи, что же это!.. — раздалось из роты, и несколько рук, сжатых в кулаки, поднялось над фронтом.

Я обернулся. Конная сотня, стоявшая шагах в двадцати, грозно надвинулась, и люди затихли.

— Ведите этих подлецов, и при малейшей попытке к бегству — пристрелить, — сказал Гиршфельдт казачьему офицеру.

— Понимаю, — хмуро ответил тот, скомандовал арестантам и повел их, окруженных казаками, из леса.

Дело было сделано, настроение солдат было очень возбужденное, квадраты батальонных колонн, выстроившихся на лесной прогалине, были грозны, и я подумал, что хорошо будет, если Линде теперь же и уедет, пока солдаты не поняли своей силы и нашего бессилия. Я сказал это ему.

— Нет, генерал. Вы ничего не понимаете, — сказал Линде. — Первое впечатление сделано. Надо воспользоваться психологическим моментом. Я хочу поговорить с солдатами и раз'яснить им их ошибки.

Линде и начальник дивизии, генерал Гиршфельдт, сияли счастьем от первой удачи: какая-то непреодолимая судьба несла их в самую пасть опасности. Они уже никого не слушались, и Линде полагал, вероятно, что он овладел массой. Мне же было жутко на него смотреть. По лицам солдат второй роты я понял, что дело далеко не кончено, что судом комиссара они недовольны. Я приказал офицерам и урядникам разойтись между солдатами и наблюдать за ними. Нас было едва пятьсот человек, рассыпанных по всему лесу. Солдат в 444-м полку было свыше четырех тысяч, да много сходилось и из соседних полков. Весь лес был серым от солдатских рубах.

Линде подошел к первому батальону. Он отрекомендовался, кто он, и стал говорить довольно длинную речь. По содержанию это была прекрасная речь, глубоко патриотическая, полная страсти и страдания за Родину. Под такими словами подписался бы с удовольствием любой из нас, старых офицеров. Линде требовал беспрекословного исполнения приказаний начальников, строжайшей дисциплины, выполнения всех работ.

Немцы изредка постреливали со своей позиции, и германские шрапнели, пущенные с далеких батарей, разрывались высоко над лесом в ясном синем небе. Это еще более возбуждало Линде. Он указывал на них и говорил, что на боевой позиции всякое преступление является изменой Родине и свободе. Говорил он патетически, страстно, сильно, местами красиво, образно, но акцент портил все. Каждый солдат понимал, что говорит не русский, а немец.

Кончив, Линде, несмотря на протест командира полка, хотевшего держать людей все время в строю и под наблюдением, приказал разойтись людям первого батальона и пошел говорить со вторым. Люди первого батальона разошлись по кучкам и стали совещаться. Некоторые следовали за Линде, и нас уже сопровождала порядочная толпа солдат.

Ко мне то и дело подходили офицеры 2-го Уманского полка и говорили:

— Уведите его. Дело плохо кончится. Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы не справимся. Они и на казаков действуют. Посмотрите, что идет кругом.

Действительно, подле каждого казака стояла кучка солдат, и слышался разговор.

Я снова пошел к Линде и стал его убеждать. Но убедить его было невозможно. Глаза его горели восторгом

воодушевления, он верил в силу своего слова, в силу убеждения. Я сказал ему все.

— Вас считают за немецкого шпиона, — сказал я.

— Какие глупости, — сказал он. — Поверьте мне, что это все прекрасные люди. С ними только никто никогда не говорил.

Было около трех часов пополудни и сильно жарко. Линде уже не говорил речей, но он и генерал Гиршфельдт стояли в плотной толпе солдат и отвечали на задаваемые им вопросы. Вопросы эти были все наглее и грубее. Из темной солдатской массы выступали уже определенные лица, которые неотступно следовали за Линде. Помню одного из них. Неловкий парень, с длинными, как у обезьяны руками, колченогий, с круглым идиотским лицом, бледная кожа которого была покрыта ярко-желтыми веснушками, типичный дегенерат, солдат этот все время привязывался с самыми неожиданными вопросами то к Линде, то к Гиршфельдту. Я удивился терпению Линде, с каким он старался раз'яснить самые острые вопросы.

Для того, чтобы изолировать казаков от влияния солдат, я приказал собрать оставшиеся четыре сотни на площадке, приказал завести машину Линде и подать ее ближе, и решительно вывел Линде из толпы.

— Вам надо уехать сейчас же, — строго сказал я. — Я ни за что не отвечаю.

— Вы боитесь, — сказал Линде.

— Да, я боюсь, но боюсь за вас. Вся злоба направлена против вас. Меня, может быть, не тронут, побоятся казаков, но вам сделают худо. Уезжайте!

Линде колебался. Лицо его было возбуждено, я чувствовал, что он упоен собою, влюблен в себя и верит в свою силу в силу *слова*.

Машина фыркала и стучала подле, заглушая наши слова, шоффер и его помощник сидели с бледными лицами. Руки шоффера напряженно впились в руль машины.

— Хорошо, я сейчас поеду, — сказал Линде и взялся за дверцу автомобиля. Я пошел садиться на свою лошадь.

Но в это мгновение к Линде подошел командир полка Он хотел еще более убедить его уехать.

— Уезжайте, — сказал он. — 443-й полк снялся с позиции и с оружием идет сюда. Он хочет с вами говорить.

— Как! — воскликнул Линде, — самовольно сошел с позиции? Я поеду к нему. Я поговорю с ним. Я сумею убедить его и заставить выдать зачинщиков этого гнусного дела. Надо вынуть заразу из дивизии.

— Люди вооружены, — сказал командир полка.

— Я — комиссар. Меня не тронут. Это мой долг, — сказал он.

— Ведь, вы знаете, — сказал он мне, — они обвиняют генерала Гиршфельдта в том, что он продал немцам за 40.000 рублей свою позицию. Как это глупо. За сорок тысяч!.. Вечно нелепая басня об измене генералов!

В это время в лесу, в направлении позиции раздалось несколько ружейных выстрелов. Ко мне подскочил взволнованный казачий офицер, начальник заставы, и растерянно доложил:

— Ваше превосходительство, пехота наступает на нас правильными цепями, в строгом порядке. Я приказал пулеметчикам открыть по ним огонь, но они отказались.

Я передал этот доклад Линде и еще раз просил его немедленно уехать.

— Но, ведь, это уже настоящий бунт! — сказал он. — Мой долг быть там! Генерал, вы можете не сопровождать меня. Я поеду один. Меня не тронут.

— Мой долг ехать с вами, — сказал я и тронул свою лошадь рядом с автомобилем. Толпа, тысяч в шесть солдат, запрудила всю прогалину, и ехать можно было очень тихо. Впереди изредка раздавались выстрелы.

Вдруг раздался чей-то отчаянный резкий голос, покрывая общий гомон толпы.

— В ружье!..

Толпа точно ждала этой команды. В одну секунду все разбежались по землянкам и сейчас же выскакивали оттуда с винтовками. Резко и сильно, сзади и подле нас застучал пулемет, и началась бешеная пальба. Все шесть тысяч, а, может быть, и больше, разом открыли беглый огонь из винтовок. Лесное эхо удесятерило звуки этой пальбы. Казаки шарахнулись и понеслись по дороге и мимо дороги на проволоку резервной позиции.

— Стой, — крикнул я. — Куда вы? С ума сошли! Стреляют вверх!

— Сейчас вверх, а потом и по вас! — крикнул, проскакивая мимо меня, смертельно бледный мой вестовой Алпатов, уже потерявший фуражку.

Полк, мой отборный конвой, трубачи — все исчезло в одну секунду. Видна была только густая пыль по дороге, да удаляющиеся там и сям, упавшие с лошадей люди, которые вскакивали и бежали догонять сотни. Остался при Линде я, генерал Мистулов и мой начальник штаба, генерального штаба полковник Муженков. Но стреляли действительно вверх, и у меня еще была надежда вывести Линде из этого хаоса.

Автомобиль повернули обратно, и мы поехали при громе пальбы снова на прогалину мимо землянок. Но в это время пули стали свистать мимо нас и щелкать по автомобилю.

Ясно, что теперь уже автомобиль стал мишенью для стрельбы.

Шофферы остановили машину, во мгновение ока выскочили из нее и бросились в лес. За ними выскочил и Линде с Гиршфельдтом. Гиршфельдт побежал в лес, а Линде бросился в землянку. На спуске в землянку какой-то солдат ударил его прикладом в висок. Он побледнел, но остался стоять. Видно, удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Линде упал, обливаясь кровью. И сейчас же все с дикими криками, улюлюканием бросились на мертвого. Мне нечего было больше делать. Я с Мистуловым и Муженковым рысью поехал из леса. Выстрелы провожали нас. Однако, стреляли не целясь. Много пуль свистало над нами, но только одна ранила лошадь полковника Муженкова.

За лесом я стал догонять пеших казаков. Они то шли, то бежали, то ложились. Их было человек двадцать. Сзади них шло два офицера и с ними генерал Гиршфельдт.

— Как вам не стыдно, уманцы? — сказал я им. — Ну, чего разбежались? Чего падаете? Пехота стреляет зря. Никого не убило. Видите, я еду верхом на большой лошади, и то меня не тронули.

— Его сила, ваше превосходительство! — отвечали исступленно казаки,—всех перебьет. Наших много полегло. Пол-полка нет.

Из этих немногих слов мне стало ясно одно. Полк надо собрать и успокоить. Верстах в двух за лесом мы встретили двуколку с солдатом, на нее усадили уставшего и запыхавшегося генерала Гиршфельдта и с ним двух офицеров и приказали ехать в штаб дивизии, в деревню Духче. Я продолжал ехать шагом. Стрельба почти прекратилась, лишь изредка свистала над нами какая-либо пуля. Мало-по-малу ко мне начали собираться рассеявшиеся по полям казаки. Первым явился мой вестовой Алпатов, со сконфуженным лицом и без фуражки.

— А мы думали, вас убили, ваше превосходительство,— улыбаясь, сказал он.

— Фу, да и дурной же, — сказал я ему. — Хороши будете без шапки!

— Я у пехоты украду, — улыбаясь, отвечал Алпатов.— Как палили-то! Страсть! Я думал, никто жив не будет.

— Так, ведь, вверх, — с досадою сказал я.

— И то вверх, — согласился Алпатов.

Недалеко от Духче полковник Агрызков собирал полк. Увидевши меня, он поскакал ко мне.

— Полк сильно расстроен, — доложил он. — Половина людей не знаю где. Надо итти домой, успокоить. Меня и вас грозят убить. Говорят, что мы нарочно привели их в западню, чтобы истребить.

— Вы лучше спросите меня, полковник, где комиссар, которого охранять вы были обязаны, — сухо сказал я ему.

— А где? — растерянно спросил Агрызков.

— Убит солдатами на моих глазах, — сказал я.

Агрызков тяжело вздохнул и поехал за мной. Я направился к полку. Вид жидких сотен казаков, растерянных и растрепанных, многих, потерявших лошадей, был безотраден. Я молча об'ехал ряды и сказал Агрызкову:

— Соберите полк в Духче и ожидайте там приказаний.

После этого я поехал в Духче. Там все было спокойно. Я связался с командиром IV кавалерийского корпуса телефоном и доложил ему о происшествии. Командир корпуса потребовал, чтобы я приехал немедленно к нему, к нему же направил и уманцев. Он был очень обеспокоен тем, что произошло, и вызвал к штабу корпуса 2-й Полтавский полк и броневые машины.

В Духче приехал генерал-от-инфантерии Волкобой, командир армейского корпуса, в который входила пехотная дивизия, и стал совещаться с Гиршфельдтом о том, что делать. Я поехал верхом в деревню Пожарки, где был штаб IV кавалерийского корпуса.

Уже затемно, с Муженковым и двумя вестовыми я приехал в Пожарки. На дворе господского дома стояло две броневые машины. Среди чинов штаба было волнение, носились слухи, что вся 3-я пехотная дивизия сошла с фронта и идет на Пожарки. Я рассеял эти слухи, да и телефон из Духче скоро сообщил нам иные, хотя и очень печальные, известия.

При моем от'езде, генерал Волкобой, считавший себя любимцем солдат, почтенный старик с седой бородой, типичный русский старик, «дедушка», как звали его солдаты, убедил Гиршфельдта поехать в дивизию без конвоя и уговорить солдат повиноваться. Они поехали вдвоем на лесную прогалину. Там их окружила толпа солдат. Солдаты, прежде всего, потребовали освобождения арестованных, — Волкобой тут же приказал их отпустить. Потом схватили Гиршфельдта, повели его в лес, раздели, привязали к дереву, истязали, надругались над ним, после чего убили. Волкобой убежал в землянку, плакал и умолял пощадить его в уважение к его сединам. Солдаты со смехом выволокли его из землянки, посадили в автомобиль и, окружив издевавшимися над ним солдатами, отвезли в штаб его корпуса.

Вместе с Гиршфельдтом был убит командир полка и еще один офицер. Убийства, наступающая темнота, лес, все подействовало отрезвляюще на солдат, и они тихо ушли на позицию и решили сидеть на ней и никуда не уходить.

Не раскаяние и не угрызение совести руководило ими, но страх наказания и сознание, что вина их очень велика.

Ночью полковник Агрызков, убедившись в плохом настроении казаков 2-го Уманского полка, увел их за реку Стырь, на свои квартиры. В полку никто не был убит.

Было помято лошадьми несколько казаков, да несколько лошадей покалечилось на проволоках во время безумного бегства. Полтавцы, переговоривши с уманцами, постановили, что они на верную смерть не пойдут. Таким образом, в несколько часов была разрушена вся та работа по приобретению доверия, которую я делал три месяца.

В штаб корпуса ночью прибыл помощник комиссара Линде из Луцка и исполнительный комитет совета солдатских и рабочих депутатов гор. Луцка. Они утром хотели ехать творить суд и расправу над виновниками убийства Линде и Гиршфельдта. В штабе же находился войсковой старшина Хоперсков, командир пластунского (не из казаков, а из солдат) дивизиона бывшей моей 2-й казачьей Сводной дивизии и комитет дивизиона. Они явились по личному почину предложить командиру корпуса свои услуги по охране штаба корпуса и восстановлению порядка на позиции.

Утром предполагалось начать разведку и приступить к смене частей 3-й дивизии с позиции для отвода ее в тыл. Но мне уже не пришлось принимать в этом участия. В ночь на 26 августа пришла из Ставки Верховного Главнокомандующего телеграмма, подписанная Корниловым. Я был назначен командиром III конного корпуса[15], и Корнилов требовал моего немедленного прибытия в Ставку. Генерал Гилленшмидт, у которого в корпусе я был больше двух лет и который очень меня любил, сердечно простился со мною.

— Поезжай немедленно, — сказал он. — Я не знаю, что там, но чувствую, что там тебе сразу предстоит работа. Бог да поможет тебе.

В те печальные дни, когда не проходило недели, чтобы кто-либо из начальников не был убит, то случайно, то умышленно, мы все почувствовали себя обреченными на смерть и были к ней готовы в каждую минуту.

— Лишь бы не мучили, — сказал мне Гилленшмидт, говоря о смерти от руки своих же.

— Я не признаю мучений, — отвечал я ему. — Страшен первый удар. Но он, несомненно, вызывает притупление чувствительности, полубессознательное состояние, и дальнейшие удары уже не дают ни болевого, ни морального ощущения.

26-го августа я уехал из дер. Пожарки и в тот же день, сдавши дивизию генералу Колесникову и отправив своих лошадей, ночью поехал на станцию Киверцы, чтобы ехать в Могилев.

IV.

В СТАВКЕ У ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА.

28-го августа, в 4 часа утра, я прибыл в Могилев. Когда я в 9 часов вышел, чтобы ехать в Ставку, Могилев имел обычный вид. На станции, как и всегда, толпились офицеры, много было солдат ударных батальонов с голубым щитом, нашитым на левом рукаве рубахи с изображением белой краской черепа и мертвых костей. Не понравились они мне. Чем-то бутафорским веяло от этих неаккуратно сделанных нарукавных нашивок. Поразила меня еще и крайняя сдержанность, совсем необычная нашим, когда-то неумеренно-болтливым, офицерам. Как будто боялись друг друга и друг за другом следили.

Так, *ничего не зная* о том, что происходит, я на штабном автомобиле, всегда отходящем в 9 часов во дворец, отправился в штаб Верховного Главнокомандующего. Я всю войну провел на позиции. В Ставке я никогда не был, даже в штабах армии за все три года войны счетом был три раза. Я с любопытством оглядывал большой город и массы солдат, ходивших по нему. Проехал взвод туркмен, и я полюбовался их прекрасными статными лошадьми. В общем, был полный порядок.

После небольших формальностей, меня пропустили в дом Верховного Главнокомандующего. Главнокомандующий был занят, и мне предложили подождать на площадке 2-го этажа парадной лестницы. Вскоре туда поднялся искалеченный офицер. Он страстно, в повышенном тоне, стал говорить мне о том, что батальон инвалидов постановил предоставить себя в полное распоряжение Верховного Главнокомандующего и что он приехал с депутацией заявить об этом генералу Корнилову. О Корнилове он отзывался восторженно, со слезами. «Тяжело, должно быть, теперь положение Главнокомандующего, — подумал я, — если инвалидам приходится его защищать». Во время разговора с инвалидом меня потребовали в кабинет начальника штаба. Начальник штаба [16] сбивчиво и неясно, видимо, сильно волнуясь, об'яснил мне, что только что Корнилов об'явил Керенского изменником, а Керенский сделал то же самое по отношению к Корнилову, что необходимо арестовать Временное правительство и прочно занять Петроград верными Корнилову войсками, тогда явится возможность продолжать войну и победить немцев. С этою целью Корнилов двинул на Петроград III конный корпус, который с приданной к нему Кавказской туземной дивизией разворачивается в армию, командовать которой назначен генерал Крымов. Кавказская дивизия раз-

ворачивается в туземный корпус приданием к ней 1-го Осетинского и 1-го Дагестанского полков. Я же назначен принять от Крымова III конный корпус, чтобы освободить его для командования армией. Сложная работа разворачивания Кавказской туземной дивизии в корпус шла на походе, да и не на настоящем походе, а в вагонах железнодорожных эшелонов. На деликатное дело военного переворота были брошены части с только что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, Уссурийская конная дивизия III корпуса не знала меня.

На мой вопрос, где же я могу настигнуть свой корпус, начальник штаба очень неуверенно начал говорить, что корпус может быть уже в Петрограде, или в Пскове, в Пскове наверное, что туземцы или в Павловске, или на станции Дно, что все движется эшелонами и в данное время связи еще нет. В это время дверь кабинета начальника штаба распахнулась, и в нее быстрыми, твердыми шагами вошел невысокого роста генерал, аккуратно одетый, с коротко остриженными черными волосами и черными нависшими над губою усами. Лицо его было смуглое, глаза узкие, чуть косые и с сильным блеском, быстрые. Я никогда не видал раньше Корнилова, но сейчас же узнал его по его портретам. Я представился ему.

— С нами вы, генерал, или против нас? — быстро и твердо спросил меня Корнилов.

— Я старый солдат, ваше превосходительство, — отвечал я, — и всякое ваше приказание исполню в точности и беспрекословно.

— Ну, вот и отлично. Поезжайте сейчас же в Псков. Постарайтесь отыскать там Крымова. Если его там нет, оставайтесь пока в Пскове: нужно, чтобы побольше было генералов в Пскове. Я не знаю, как Клембовский? Во всяком случае явитесь к нему. От него получите указания Да поможет вам господь. — Корнилов протянул мне руку, давая понять, что аудиенция кончена.

Поезд на Псков отходил в 2 часа, дня, было всего половина 12-го, и я пошел пешком по Могилеву в штаб Походного Атамана. На улицах толпилось очень много ударников из ударных батальонов, они щеголевато отдавали честь, но, видимо, были смущены, собирались кучками и о чем-то шептались.

В штабе Походного Атамана у меня все были старые знакомые и сослуживцы. И начальник штаба, генерал-от-кавалерии Смагин, и Сазонов, и чины штаба, полковники Власов [17] и Греков, были уверены в полном успехе дела. Они мне подробно рассказали о том, что Керенский определенно ведет армию к полному разложению, и если он останется у власти, солдаты покинут фронт и станут брататься с нем-

цами. Керенский совершенно подчинился Исполнительному Комитету Совета солдатских и рабочих депутатов, того совета, который издал приказ № 1. Правительство ничего не стоит и ничего не понимает: России угрожает гибель. Спасти может только диктатура, и в решительную минуту, когда самое существование России висело на волоске, Верховный Главнокомандующий взял на себя свергнуть Керенского и стать во главе России до Учредительного собрания.

Тут же мне показали приказ Корнилова [18], написанный в сильных, но слишком личных тонах. «Сын казака-крестьянина» звучало как-то не у места и не отвечало всему тону приказа, написанному не по-крестьянски. В прекрасно, благородно, смело написанном приказе звучала фальшь. Я ее сейчас заметил. В штабе Походного Атамана ее не замечали, но солдаты и казаки уловили ее сразу и, потом только ее и видели. Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости: «Долой войну! Подавай нам мир и землю. *Мир по телеграфу*». — А приказ настойчиво звал к войне и победе. Керенский, который лучше понимал настроение масс, сейчас же почуял эту фальшь, и его контрприказ, об'явивший Корнилова изменником и контр-революционером, говоривший о тех завоеваниях революции, которые солдатом понимались, как своевольничание, ничегонеделание, пьянство и отсутствие какой бы то ни было власти, сразу завоевал симпатию солдатской массы. Разговаривая со Смагиным и Сазоновым, я откровенно высказал свои взгляды по поводу всего дела.

Замышляется очень деликатная и сильная операция, требующая вдохновения и порыва. Coup d'état, — для которого неизбежно нужна некоторая театральность обстановки. Собирали III корпус под Могилевым? Выстраивали его в конном строю для Корнилова? Приезжал Корнилов к нему? Звучали победные марши над полем, было сказано какое-либо сильное увлекающее слово, — боже сохрани, — не речь, а именно, *слово*, — была обещана награда? Нет, нет, и нет. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по железным путям, часами стояли на станциях. Солдаты толпились в красных коробках вагонов, а потом, на станции, толпами стояли около какого-нибудь оратора — железнодорожного техника, постороннего солдата, — кто его знает кого? Они не видели своих вождей с собою и даже не знали, где они.

Я помню, как гр. Келлер повел нас на штурм Ржавендов и Топороуца. Молчаливо, весенним утром на черном пахатном поле выстроились 48 эскадронов и сотен и 4 конные батареи. Раздались звуки труб, и на громадном коне, окруженный свитой, под развевающимся своим значком явился граф Келлер. Он что-то сказал солдатам и казакам. Никто ничего не слыхал, но заревела солдатская масса «ура», заглу-

шая звуки труб, и потянулись по грязным весенним дорогам колонны. И когда был бой, — казалось, что граф тут же и вот-вот появится со своим значком. И он был тут, он был в поле, и его видали даже там, где его не было. И шли на штурм весело и смело.

Тут все начальство осталось позади. Корнилов задумал такое великое дело, а сам остался в Могилеве, во дворце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам неверящий в успех. Крымов неизвестно где, части не в руках у своих начальников.

Легенда о «всаднике на белом коне», в'езжающем победителем в город, слишком сильно в'елась в народные умы, чтобы ею можно было пренебрегать, совершая coup d'état.

Все это я высказал в штабе. Но меня разуверили и успокоили. Керенского в армии ненавидят. Кто он такой?— штатский, едва ли не еврей, не умеющий себя держать фигляр, а против него брошены лучшие части. Крымова обожают, туземцам все равно, куда итти и кого резать, лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет. Это только прогулка: все подготовлено.

Но тогда еще менее мне было понятно, почему же в эту прогулку не пошел сразу с нами Корнилов?

В штабе Походного Атамана горячо желали мне успеха, но сами волновались, сами боялись даже Могилева. Я хотел итти на станцию пешком. Меня не пустили.

— Нельзя, мой милый друг, — сказал мне Д. П. Сазонов. — Мало ли что может случиться? Мы тебе дадим автомобиль.

Смагин навязал сопровождать меня сотника Генералова, случайно бывшего у них, опять-таки под тем предлогом, что мало ли что может выйти, и всегда хорошо иметь при себе верного и надежного человека.

В час дня я был на станции, получил место в прямом скором поезде и в ожидании его сел обедать. На станции я узнал, что только-что уехал из Ставки в Петроград на паровозе Филоненко [19], приезжавший от Керенского уговаривать Корнилова. Рассказывавший мне это офицер сказал, что Корнилов убедил Филоненко в правоте своего поступка, и Филоненко будто бы теперь помчался уговаривать Керенского признать диктатуру Корнилова, при чем Корнилов оставлял за Керенским пост министра юстиции.

В разговор вмешался другой офицер и стал доказывать, что Керенский никогда не примирится с постом министра юстиции, что он крайне честолюбив и сам жаждет диктатуры, при этом рассказывал те сплетни, которые ходили тогда, что Керенский спит в постели императрицы и носит белье императора.

Делалось страшное, великое дело, а грязная пошлость выпирала отовсюду.

В 2 часа 50 минут я с сотником Генераловым сел в отведенное нам купе, и мы поехали к Петрограду.

Поезд шел поразительно точно. Провожатый вагона говорил нам, что все железнодрожники на стороне Корнилова, что они мечтают, чтобы кто-либо обуздал беспардонные банды солдат, которые носятся теперь по всем путям, зажигают вагоны первого класса, бьют стекла, срывают обивку и терроризируют всех железнодорожников.

По пути я обдумывал, что же мы должны будем делать? Нашей задачей, сколько я мог понять в Ставке, являлся арест членов Временного правительства и арест Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, иными словами — захват Зимнего дворца, Смольного института и Таврического дворца. Какое и откуда сопротивление мы могли встретить? Конечно,—«краса и гордость революции»—матросы вступятся за своего вождя и героя, может быть, рабочие и весьма вероятно Петроградский гарнизон, который стал в положение преторианцев и боится, что Корнилов отправит его на фронт. Наших сил было мало. Но, считаясь с трусливым настроением петроградских солдат, с тем, что корпус представляет из себя отборных бойцов; считаясь с тем, что уличный бой вести очень трудно и офицеры Петроградского гарнизона, училища и пр., вероятно, на нашей стороне, можно было рассчитывать и на успех. Хотелось только возможно скорее увидеть корпус *собранным в поле,* как грозная сила, со всеми его батареями и пулеметами, а не иметь его разбросанным по путям железной дороги.

Невольно задумывался и о своем положении. В случае удачи — ореол славы Корнилова захватит и нас, его сотрудников; в случае крушения дела, нам придется разделить его участь, — тюрьму, полевой суд и смертную казнь. Однако, чувствовал, что и в этом случае итти надо, потому что не только морально все симпатии были на стороне Корнилова, но и юридически я был прав, так как получил приказание от своего Верховного Главнокомандующего и обязан его исполнить. Характерно то, что ни я, ни генералы Смагин, Сазонов, ни офицеры штаба Походного Атамана, мы ни разу не останавливались над вопросом о том, к какой политической партии принадлежат Корнилов и Крымов, куда будут они гнуть, если окажутся у власти. А между тем мы знали, что Корнилов считался революционером, что Крымов, которого почему-то считали монархистом и реакционером, играл какую-то таинственную роль в отречении государя императора и сносился и дружил с Гучковым [20]. Мы все так жаждали возрождения армии и надежды на победу, что готовы были тогда итти

с кем угодно, лишь бы выздоровела наша горячо любимая армия.

Спасти армию! Спасти какою угодно ценою. Не только ценою жизни, но и ценою своих убеждений — вот что руководило нами тогда и заставляло верить Корнилову и Крымову.

V.

НА СТАНЦИИ ДНО. ТУЗЕМНЫЙ КОРПУС.

В 6 часов утра 29 августа мы прибыли на станцию Дно, и здесь нам заявили, что поезд дальше не пойдет: между Вырицей и Павловском путь разобран, идет перестрелка между всадниками Туземного корпуса и солдатами Петроградского гарнизона, вышедшими навстречу. Все пути были заставлены эшелонами с частями Туземного корпуса. В зале 1-го и 2-го классов и в буфете, несмотря на ранний час, столпотворение вавилонское. Офицеры, всадники, солдаты. Кто спит на полу или на лавке, кто уже обедает, кто пьет чай, кто разложил карты и в толпе откровенно диктует приказание. Кухонный чад, волны табачного дыма и отсутствие какого бы то ни было воинского порядка. Масса знакомых — в 1915 г. я командовал 3-й бригадой Кавказской туземной дивизии — меня обступили. Никто толком ничего не знал. Эшелоны застряли на всем пути, но никто не знал, что делать, приказаний ни от кого получено не было. Осетины и дагестанцы могли подойти только через несколько дней. Командир Туземного корпуса, князь Багратион, находился верстах в восьми от станции в каком-то имении. Туда ехал командир Ингушского полка, полковник Мерчуле, я переговорил по телефону с князем и поехал к нему, чтобы сговориться.

Странно было проезжать по шоссированной дороге между мокрых, порыжелых кустов ивы и смотреть на болотистые луговины и уже золотые березы, такие близкие и родные мне с детства, так напоминавшие дачи и маневры всей моей жизни; и теперь предстояли тоже маневры, но только какие!

По пути попадались всадники, и так не гармонировали они своими изношенными серыми черкесками и рыжими папахами, своими поджарыми горскими лошадьми, сухими лицами и длинными носами — с печальной природой плаксивого севера.

Князь Багратион только-что встал. Ночью он получил пакет от Крымова и теперь пригласил меня рассмотреть с ним присланную ему диспозицию.

Диспозицию и план Петрограда, приложенный к ней, рассматривали таинственно, как заговорщики. Приказ Крымова говорил о том, что делать, когда Петроград будет занят. Какой дивизии занять какие части города, где иметь наиболее сильные караулы. Все было предусмотрено: и занятие дворцов и банков, и караулы на вокзалах железной дороги, телефонной станции, в Михайловском манеже, и окружение казарм, и обезоружение гарнизона; не было предусмотрено только одного — встречи с боем до входа в Петроград. Сам Крымов был в Пскове, но собирался мчаться дальше в самый Петроград, впереди своих войск. Прочитав это приказание, князь Багратион поехал со мною на станцию Дно. Там был телефон с Вырицей, откуда командир 3-й бригады, князь Гагарин, мог донести Багратиону о том, что происходит.

Произошло же следующее: третья бригада, шедшая во главе Кавказской туземной дивизии, у станции Вырицы наткнулась на разобранный путь. Черкесы и ингуши вышли из вагонов и собрались у Вырицы, а потом пошли походным порядком на Павловск и Царское Село. Между Павловском и Царским Селом их встретили ружейным огнем, и они остановились. По донесениям со стороны, вышедшие навстречу солдаты гвардейских полков драться не хотели, убегали при приближении всадников, но князь Гагарин не мог итти один с двумя полками, так как попадал в мешок. Надо было пододвинуть вперед эшелоны Туземной дивизии и начать движение III конного корпуса на Лугу и Гатчино, а где находился III конный корпус, никто точно не знал. Где-то тоже на путях, а Уссурийская конная дивизия даже сзади. Надо было ударить по Петрограду силою в 86 эскадронов и сотен, а ударили одною бригадою князя Гагарина в 8 слабых сотен, наполовину без начальников. Вместо того, чтобы бить кулаком, ударили пальчиком — вышло больно для пальчика и нечувствительно тому, кого ударили.

На станции Дно стояли эшелоны Кавказской туземной дивизии. Было очевидно, что подать их вперед эшелонами нельзя. Все равно — почему. Потому ли, что настроение железнодорожников после воззвания Керенского изменилось, и они уже были против Корнилова и называли его изменником; потому ли, что технически, при разрушенном пути, нельзя было подать эшелоны вперед, но эшелоны стояли, а кн. Багратион не рисковал выгрузиться и итти походом к Вырице. Казалось далеко.

Мой поезд на Псков должен был отойти в 2 часа. Около этого времени на станцию прибыло 2 эшелона Приморского драгунского полка. Солдаты сейчас же выскочили из вагонов и собрались на опушке леса за путями. У них уже были воззвания Керенского, и они горячо обсуждали, кто изменник: Корнилов или Керенский. Командир полка, пол-

ковник Шипунов, узнавши, что я нахожусь на станции и что я назначен командиром III конного корпуса, пошел представиться мне и просил меня поговорить с солдатами.

Я отправился за пути. Солдатская толпа сейчас же обступила меня. Я вгляделся в лица. Хорошие, славные, честные это были лица. Драгуны были прекрасно, щегольски одеты и отлично выправлены. Я сказал им, кто я. Сказал, что я знаю полк еще по Японской войне [21], когда был с ними на охране побережья у Кайджао и видел их в бою под Дашичао. Я прочел и раз'яснил им приказ Корнилова.

— Мы должны исполнить приказ нашего Верховного Главнокомандующего, как верные солдаты без всякого рассуждения. Русский народ в Учредительном собрании рассудит, кто прав, Керенский или Корнилов, а сейчас наш долг повиноваться.

— Господин генерал, — отвечал мне солидный прапорщик, вахмистр со многими георгиевскими крестами. — Оборони боже, чтобы мы отказывались исполнить приказ. Мы с полным удовольствием. Только, вишь ты, какая загвоздка вышла. И тот изменник, и другой изменник. Нам дорогою сказывали, что генерал Корнилов в Ставке уже арестован, его нет, а мы пойдем на такое дело? Ни сами не пойдем, ни вас под ответ подводить не хотим. Останемся здесь, пошлем разведчиков узнать, где правда, а тогда — с нашим удовольствием — мы свой солдатский долг отлично понимаем.

Но оставаться на станции Дно, когда каждая минута была дорога и каждый лишний солдат был нужен Крымову в Пскове, я считал невозможным.

— Хорошо, — сказал я.—Я с вами согласен, что без разведки мы не можем кинуться в бой. Ваш путь идет через Псков. В Пскове находится главнокомандующий Северным фронтом. Я еду сейчас в Псков, и если главнокомандующий подтвердит приказ генерала Корнилова, мы обязаны его исполнить.

— Совершенно правильно,—раздались голоса солдат.— Мы исполним то, что нам скажут в штабе фронта. Так пусть и будет.

Я надеялся на солидарность между генералами. Я был уверен, что генерал Клембовский станет на точку зрения Корнилова—необходимости спасать, но не разрушать армию.

Драгуны разошлись по вагонам, и через полчаса их эшелоны потянулись по свободному пути на Псков.

В 5 часов пополудни прибыл и мой псковский поезд, и я поехал с ним, обгоняя по пути драгунские эшелоны.

VI.

В ЭШЕЛОНАХ.

Ночь была темная, августовская. На остановках то я, то сотник Генералов выходили на станции и ходили мимо драгунских эшелонов. И почти всюду мы видели одну и ту же картину: где на путях, где в вагоне, на седлах у склонившихся к ним головами вороных и караковых лошадей сидели или стояли драгуны и среди них юркая личность в солдатской шинели. Слышались отрывистые фразы.

— «Товарищ, что же вы. Керенский вас из-под офицерской палки вывел, свободу вам дал, а вы опять захотели тянуться перед офицером, да чтобы в зубы вам тыкали. Так, что ли?

«Товарищи, Керенский за свободу и счастие народа, а генерал Корнилов за дисциплину и смертную казнь. Ужели вы с Корниловым?

«Товарищи, Корнилов изменник России и идет вести вас на бой на защиту иностранного капитала. Он большие деньги на то получил, а Керенский хочет мира!..—Молчали драгуны, но лица их становились все сумрачнее. Приверженцы Керенского пустили по железным дорогам тысячи агитаторов, и ни одного не было от Корнилова».

Какая страшная драма разыгрывалась в темной душе солдата в эти дни!

Какие ужасные мысли медленно ползли и копошились в его мозгу? Начальники с Верховным Главнокомандующим, генералом Корниловым, вели солдат против Временного правительства, того Временного правительства, которое дало им неслыханную свободу, которое попустительствовало им в их преступлениях против начальников и, не отказываясь на словах, отказалось на деле от войны, потому что лето, —период упорных сражений, — проходило тихо, если не считать двух неудавшихся наступлений: июньского на Юго-Западном фронте и июльского на Северном, сорванных солдатами, оставшимися совершенно безнаказанными.

После революции — даже и помимо приказа № 1 — между офицерами и солдатами появилась пропасть. Революция для солдата — это была свобода, а свобода — отрицание войны. После революции и отречения императора, война исчезла из понятия солдата. Ведь, войну все время называли капиталистически-империалистской. Императора больше не было; для того, чтобы окончательно освободиться от войны, надо было теперь освободиться от капиталистов; об этом откровенно кричали по всей армии большевики. Такие речи я слышал, когда меня 5 мая судил трибунал Видибор-

ского солдатского совета, таких же речей я наслушался и от солдат 111-й пехотной дивизии перед убийством комиссара Линде. Солдат устал от войны, окопная жизнь ему на смерть надоела, его тянуло домой, на ту самую землю, которой он, наконец, добился. Дезертировать мешал страх наказания и остаток совести, и солдат ждал и прислушивался только к одному слову, и это слово было мир. Временное правительство и особенно Исполнительный Комитет Совета солдатских и рабочих депутатов это слово произносили часто, то принимая, то отрицая возможность мира, они думали, значит, о мире, обсуждали его. Войны хотели только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды — так внушали солдату, и солдат этому верил. Керенский вовсе не был популярен как личность, как оратор, как идейный человек; смеялись над его жестами и его пафосом; но Керенский был их адвокатом и защитником перед офицерами и генералами. Уже то, что он был штатский, а не офицер, давало надежду солдатам, что он пойдет против войны за мир, потому что ему-то мир был нужен, а не война. И мы увидим, как отметнулась солдатская масса от своего кумира Керенского и готова была предать его, как только Керенский пошел за войну, отказался от мира «по телеграфу». Мир «по телеграфу» дали большевики, и солдатская масса пошла за ними.

Среди солдатской массы некоторые части выделялись из общего уровня. Вследствие воинственного воспитания дома, вследствие того, что война давала не только одни несчастья, но и выгоды, которыми дорожили и дома, в домашнем быту: — производство в офицеры, георгиевские кресты, иногда добыча — на войну был взгляд более благожелательный. Эти части были части казачьи. Казаки вследствие своего воспитания дольше не принимали мира. Но и казаки были разные. Были воинственные войска с твердыми традициями, и были войска невоинственные с традицями молодыми, в одних и тех же войсках были станицы воинственные и миролюбивые. Потому-то Корнилов и выбрал для выполнения своей цели казаков и горцев Кавказа, что в них идея «мира по телеграфу» не свила еще прочного гнезда, и они согласны были повоевать еще.

На призыв Корнилова к войне солдатская масса уже знала, как ответить. Ей это подсказали опытные и умелые агитаторы. Арестовать офицеров и послать делегатов в Петроград за указаниями. Все шесть месяцев после революции это было самое обычное дело. Чуть-что, выбрать делегатов, снабдить их мандатами и — айда, в Петроград, в *исполком*, которому верили, как богу. Недовольны пищей, фельдфебель по старой привычке смазал по уху за провинность, не сменили старого ротного — в *исполком*, там *свои* и

рассудят истинным, правильным, честным солдатским и рабочим судом.

Предоставленные самим себе, томящиеся в застрявших на путях эшелонах, казаки и солдаты, смущаемые воззваниями Керенского и его агитаторами, и пошли по этой проторенной за шесть месяцев дорожке — арестовать офицеров и послать делегацию в Петроград спросить, что делать? Итак, в то самое время, когда Крымов расписывал диспозицию занятия Петрограда, а ингуши и черкесы перестреливались с гвардейскими стрелками, а Петроградский гарнизон волновался и готов был сдаться Корнилову, Керенский и Временное правительство не знали, что делать, и думали о бегстве, — ведь, наступали на *них казаки и дикая дивизия* с самим бесстрашным Корниловым, — к ним, которых должны были арестовать, за советом и помощью явились представители комитетов Донской и Уссурийской дивизии и команда связи, составленная из солдат, а не горцев, как представителей дикой дивизии!

Ясно было, что все предприятие Корнилова рухнуло, еще и не начавшись.

Керенский обласкал казаков. Он тут же произвел наиболее речистых и подхалимистых двух казаков в офицеры, велел им ехать обратно с приказом остановиться и арестовать тех офицеров, которые будут требовать дальнейшего движения на Петроград. Генералу Крымову послал приказ приехать к нему для переговоров. И твердый, волевой человек, генерал Крымов послушался. Он сел в автомобиль с ад'ютантом, под'есаулом 9-го Донского казачьего полка Кульгавовым и помчался в Петроград, предавая этим Корнилова.

Поехал он с грозным решением требовать от Керенского, угрожать ему, поехал глубоко взволнованный и сильно потрясенный...

Таковы были события за те сутки, которые солдаты и казаки провели в вагонах, стоя на станциях замерзшей в каком-то сне железной дороги. Иногда по чьему-то никому неизвестному распоряжению к какому-нибудь эшелону прицепляли паровоз и его везли два, три перегона, сорок, шестьдесят верст, и потом он оказывался где-то в стороне, на глухом раз'езде без паровоза, без фуража для лошадей, без обеда для людей. В то время, как штаб Корнилова был парализован и, выпустивши части, на этом и успокоился, пособники Керенского в лице разных мелких станционных комитетов и советов и даже просто сочувствующих Керенскому железнодорожных агентов и большевиков, которые уже начали свою работу, запутывали положение корпуса до невозможного.

30 августа части армии Крымова, *конной* армии, мирно сидели в вагонах с расседланными лошадьми при полной невозможности местами вывести этих лошадей из вагонов за отсутствием приспособлений по станциям и раз'ездам восьми железных дорог: — Виндавской, Николаевской, Новгородской, Варшавской, Дно — Псков — Гдов, Гатчино — Луга, Гатчино — Тосно и Балтийской. Они были в Новгороде, Чудове, на ст. Дно, в Пскове, Луге, Гатчино, Гдове, Ямбурге, Нарве, Везенберге и на промежуточных станциях и раз'ездах. Не только начальники дивизий, но даже командиры полков не знали точно, где находятся их эскадроны и сотни. К этому привело путешествие по железной дороге армии, направленной для гражданской войны. Отсутствие пищи и фуража естественно озлобляло людей еще больше. Люди отлично понимали отсутствие управления и видели всю ту бестолковщину, которая творилась кругом, и начали арестовывать офицеров и начальников. Так, большая часть офицеров Приморского драгунского, 1-го Нерчинского, 1-го Уссурийского и 1-го Амурского казачьих полков были арестованы драгунами и казаками. Офицеры 13-го и 15-го Донских казачьих полков были в состоянии полуарестованных. Почти везде в фактическое управление частями вместо начальников вступили комитеты. Начальнику 1-й Донской казачьей дивизии, генерал-майору Грекову, удалось собрать некоторые части своей дивизии под Лугой. Он решил итти походом на Петроград. Но вернувшиеся из Петрограда члены комитета привезли приказ оставаться и требование генералу Грекову явиться к Керенскому. Генерал Греков, понимая, что после от'езда Крымова ему ничего не остается делать, как ехать к Керенскому, сел в автомобиль и поехал в Петроград. Еще раньше туда же отправился и начальник Уссурийской конной дивизии, генерал-майор Губин, увлеченный к Керенскому своим комитетом.

Генерал Корнилов рассчитывал на полное сочувствие своему плану всего генералитета... Но ... ошибся... Он был моложе многих. Были другие, которым тоже хотелось играть роль... Генерал Клембовский, вместо помощи или хотя бы нейтралитета по отношению к Корнилову, снесся с Керенским и покинул Псков, оставив вместо себя начальника гарнизона, грубого и ловкого, не стесняющегося менять убеждения, Бонч-Бруевича.

Таково было положение к тому времени, когда я, наконец, добрался до города Пскова.

VII.

В ПСКОВЕ.

На станцию Псков поезд пришел в 12 часов ночи на 30-е августа. Пассажирам было заявлено, что поезд дальше не пойдет. Опять та же история — полотно дороги разрушено, движения поездов нет. Так же, как станция Дно была переполнена офицерами и всадниками Кавказской туземной Дивизии, станция Псков была переполнена офицерами и солдатами Приморского драгунского полка и солдатами Псковского гарнизона.

Я стал расспрашивать у офицеров об обстановке.

— Где генерал Крымов?

— Утром уехал на Лугу, должно быть, сейчас там.

Имея указание от генерала Корнилова соединиться возможно скорее с Крымовым и принять от него командование III конным корпусом, я пошел к коменданту станции просить отправить меня на паровозе или на дрезине в Лугу. Измученный, усталый комендант отнесся к моей просьбе с полным участием, но сослался на категорическое приказание штаба фронта ни одного человека не пропускать в Петроградском направлении. Нужно разрешение штаба фронта.

— Дайте мне телефон штаба, я буду говорить с генералом Клембовским, — сказал я.

— Генерала Клембовского нет.

— Где же он?

— Поехал в Петроград. Он назначен Верховным Главнокомандующим.

— А Корнилов? — невольно спросил я.

— Не знаю. Или бежал, или арестован. Вы читали приказ Керенского, об'являющий его изменником?

— Читал. Но что из этого?

«Впрочем, — подумал я,—комендант мог ничего не знать. Это могла быть и провокация».

Мне дали соединение со штабом фронта.

— Кто меня спрашивает? — услышал я голос.

— А позвольте спросить, кто у телефона, — спросил я, все еще надеясь, что это Клембовский.

— Временно командующий Северным фронтом, генерал-майор Бонч-Бруевич, а вы кто?

Я назвал себя и просил извинения, что побеспокоил в столь поздний час. Было около двух часов ночи.

— Я прошу вас сейчас приехать ко мне. Мне нужно с вами переговорить. Я посылаю за вами автомобиль, — сказал мне Бонч-Бруевич.

Через полчаса я был принят генералом Бонч-Бруевичем в присутствии молодого человека с бледным лицом и с черными усиками, в рубашке с солдатскими защитными погонами.

— Комиссар Савицкий, — кинул мне Бонч-Бруевич, — мы будем говорить при нем. Какие вы задачи имеете?

Я ответил, что имею приказание явиться к генералу Крымову, и никаких больше задач не имею.

— Генерал Крымов, — как-то загадочно проговорил Бонч-Бруевич,—находится в Луге, а пожалуй, что теперь и в Петрограде. Вам не за чем ехать к нему. Оставайтесь лучше здесь.

— Я получил приказание, и я должен его исполнить. Я должен принять от него корпус и распутать ту путаницу, которая в нем происходит.

— А вы видите путаницу? — спросил Бонч-Бруевич.

Комиссар, присутствовавший здесь, меня стеснял, да и сам Бонч-Бруевич казался мне подозрительным. Я вскользь сказал о том, что эшелоны застряли на путях, люди и лошади голодают и дальше это не может продолжаться, так как грозит уничтожением конскому составу и может вызвать голодных людей на грабежи.

— Я с вами совершенно согласен, — сказал мне генерал Бонч-Бруевич. Мы об этом с вами поговорим утром.

— Я буду вас просить дать мне автомобиль до Луги.

— К сожалению, не могу исполнить вашей просьбы. У нас все машины городского типа, и не выдержат дороги, да и бензина нет.

Я видел, что генерал Бонч-Бруевич лгал. Не могло же не быть в штабе фронта нескольких полевых машин, да до Луги и городская машина могла довезти. Я попрощался с генералом Бонч-Бруевичем и пошел проводить остаток ночи в комендатское управление. Сидя в комнате дежурного ад'ютанта, я обдумывал, что же делать. Первое, что мне казалось необходимым — восстановить части. Вынуть их из коробок, поставить по деревням или на биваке и накормить людей и лошадей. Все равно с голодными людьми и на некормленных лошадях далеко не уедешь.

Утром, 30-го, я отправился к генералу Бонч-Бруевичу. Повидимому, за ночь он получил какие-либо известия о проказах казаков на путях, потому что он начал с того, что спросил у меня совета, что делать с эшелонами, которые загромоздили все пути, остановили движение по железной дороге и прекратили подвоз продовольствия на фронт. Я предложил сосредоточить Уссурийскую дивизию в районе Везенберга, пользуясь тем, что она эшелонирована на путях, идущих к Нарве и Ревелю, и Донскую в районе Нарвы. Этим совершенно разгружалась бы Варшавская дорога, а я имел бы

весь корпус в кулаке и на путях к Петрограду, так что по соединении с Крымовым мог исполнить ту задачу, которая будет указана корпусу.

Генерал Бонч-Бруевич составил при мне телеграмму, которую адресовал «Главковерху Керенскому».

— Вы видите, — сказал он, — продолжать то, что вам, вероятно, приказано и что вы скрываете от меня, вам не приходится, потому что Верховный Главнокомандующий Керенский, вот и все.

Я ушел. И все-таки я считал своим долгом отыскать Крымова, своего непосредственного начальника. От Бонч-Бруевича я пошел в гараж, попросить автомобиль, но получил там отказ: машины испорчены, нет бензина. Полковник Зарубаев, заведывавший гаражем, сообщил мне, что какой-то американский корреспондент, имеющий собственный автомобиль, едет в пять часов в Лугу, чтобы наблюдать бой между корниловскими войсками и петроградским гарнизоном, и что он устроит меня с ним. Я ухватился за это. Известие, что бой все-таки ожидается, говорило мне, что, может быть, не все еще потеряно, и что сведения Бонч-Бруевича умышленно неверные.

В комендантском управлении меня ожидал полевой жандарм из штаба главнокомандующего.

— Главнокомандующий приказал мне озаботиться отводом вам квартиры, — сказал он.

Такая заботливость о моей персоне меня удивила.

— Где же мне отвели квартиру? — спросил я.

— В кадетском корпусе, я сейчас вас туда могу отвезти.

Оставаться в дежурной комнате комендантского управления было нельзя, я стеснял ад'ютанта. Я забрал свои вещи и с своим ординарцем, кубанским урядником Пономаренко и сотником Генераловым отправился в корпус.

На входной двери квартиры, в которую меня вводили, было написано: «Комиссариат Северного фронта». В прихожей толпились солдаты и какие-то люди подозрительного вида.

— Вероятно, вы ошиблись,—сказал я жандарму,—здесь помещение комиссариата.

— Ничего, они обещали потесниться.

Действительно, ко мне вышел Савицкий и сказал, что я могу здесь располагаться. Какой-то предупредительный и весьма обязательный, хорошо одетый юноша пошел показать мне мою комнату. Это была большая комната в два окна, выходящая во внутренний сад. В комнате стояла прекрасная мягкая постель, так и манившая к покою после двух бессонных ночей.

— Вот здесь электричество, — показывал мне юноша.— Можно стол поставить, стул. Очень хорошо.

Комната отличная, — в раздумьи сказал я. Меня поразил гул солдатских голосов и как-будто стук ружей за дверью. Я открыл дверь. За дверью была просторная прихожая. Она наполнялась вооруженными солдатами.

— Вы что за люди? — спросил я их.

— Так что, господин генерал, караул к арестованному, — бойко ответил мне бравый унтер-офицер.

— Благодарю вас, — сказал я любезному юноше, но комната мне что-то не нравится. В ней будет слишком шумно, а мне надо заниматься.

И я спокойно прошел мимо караула, вышел во двор, а из двора на улицу, где еще стоял извозчик с моим чемоданом.

«Куда ехать? Куда ехать?» — думал я.

Очевидно, что Псков не на стороне Корнилова, — а тот «кто не с нами, тот против нас». В 5 часов дня за мною должен был приехать американец и везти меня к Крымову — к своим, к казакам. Оставалось ждать этого американца. А если он не приедет, что вполне возможно? Тогда все-таки ехать в Лугу — к казакам, к родному 10-му Донскому полку. На чем? — на лошадях уральских казаков конвоя главнокомандующего, на телеге, итти пешком. Таково было мое решение. Искать Крымова, но не бежать. Самое слово «бежать» мне было противно. Я никогда и ни при каких обстоятельствах ни от чего не бегал... Решил, что не побегу и теперь.

Американец, как и надо было ожидать, не приехал, может быть, и не было никакого американца.

Утомление сказывалось, а силы нужны были на завтра, чтобы ехать верхом, или итти пешком. Мне предложил переночевать у него тот самый комендантский ад'ютант, поручик Пилипенко, которого я так стеснял. Он имел комнату на окраине города недалеко от вокзала в семействе вдовы доктора или офицера, убитого на войне; меня можно будет поместить вместе с сотником Генераловым в гостиной.

К 9 часам вечера, подготовивши все для поездки верхом на лошадях уральских казаков в Лугу, я перебрался к поручику Пилипенко. Меня приняли там очень сердечно, угощали чаем с печеньями и холодным ужином, устраивали койки, и, наконец, около 12 часов ночи, мы улеглись на покой в гостиной — я возле рояля, а сотник Генералов у стены за каким-то трельяжем. Благодетель-сон сейчас же прогнал все думы, заботы, тревоги и волнения.

Но не долго он продолжался.

Сильные непрерывные звонки у входной двери меня разбудили. Я зажег свечу и посмотрел на часы. Был час ночи Я спал меньше часа. Я сейчас догадался, в чем дело, но продолжал лежать, нарочно не вставая. Прислуга хозяйки за-

шлепала босыми ногами. В дверь стали раздаваться удары прикладами. Она отворилась, и прихожая наполнилась большим количеством людей, грозно стучавших ружьями. Они не помещались в прихожей, и часть стучала винтовками по лестнице. Спросили меня.

Прислуга ответила, что не знает, кто у них стоит, стоит какой-то генерал, а фамилии его не знает. В комнате хозяйки слышались охи и плач. В квартире шел растерянный шорох, мой верный ординарец Пономаренко, вероятно, памятуя историю с Линде, моментально убежал на двор по черному ходу. Сотник Генералов сидел на постели и пугливо озирался. Было много комичного во всем этом, и это меня примирило.

В гостиную стали входить, стуча прикладами, юнкера школы праворщиков Северного фронта, с ними был их офицер и какой-то молодой человек в штатском платье.

— Вы генерал Краснов? — обратился штатский ко мне.

— Да, я генерал Краснов, — отвечал я, продолжая лежать. А вам что от меня нужно?

— Господин комиссар просит вас немедленно прибыть к нему для допроса, — отвечал он.

— Странный способ приглашать для допроса генералов, вваливаясь к ним с вооруженной командой и наводя панику на несчастных хозяев, — сказал я.

— Так делали при царском режиме! — вызывающе ответил мне молодой человек.

— Вероятно, вы для того и свергли государя императора, чтобы повторять все темные стороны его царствования, — сказал я.

Это сконфузило вошедшего, и он растерялся. Я немедленно стал одеваться. Зол я был страшно. И не на то зол, что меня арестовали. Я знал, что меня арестуют и куда-нибудь засадят, это естественно вытекало из неудачи корниловского предприятия, из арестов солдатами офицеров и отсутствия каких бы то ни было распоряжений от Корнилова и Крымова. Если не распоряжается Корнилов, то распоряжается Керенский, и тогда мы изменники, и нам прямой путь в петлю. Волноваться об этом не стоило. То, что меня взяли через комиссара и юнкера, а не солдаты, это было хорошо. Я мог надеяться, что обойдется без «эксцессов», что будет допрос и какое-то подобие суда, а если так, то обвинить меня не так-то легко.

Исполнил приказ — вот и все. Но злило меня то, что мне не дали выспаться, что мне придется итти на допрос не в полной ясности ума, что меня разбудили и доставили столько волнений и беспокойства тем милым хозяевам, которые меня так радушно приютили. И потому я будировал. Умышленно медленно одеваясь и умываясь, я ворчал:

— Хорошее воспитание для будущих офицеров — арестовывать своих генералов,—говорил я.—Вероятно, вы очень боялись старого безоружного генерала, что пригнали чуть не целую роту юнкеров.

Уже надевши шинель и пристегнувши шашку с револьвером, я спросил:

— А автомобиль у вас есть?

— Нет, извините, автомобиля нет, — растерянно отвечал молодой человек. По тону его голоса я понял, что вечно правильная тактика никогда не обороняться, но всегда наступать, возымела свое действие, и юноша подавлен мною.

— Я пешком не пойду, — сказал я, усаживаясь на диване.

— Как же быть-то? — пробормотал юноша. — У меня есть извозчик.

— Шагом не поеду. Пусть сзади бежит рота. Это будет красиво по крайней мере.

Юнкера фыркали, давясь со смеха. Офицер, бывший с юнкерами, понял, что я издеваюсь над молодым человеком, и вступился за него.

— Я полагаю, — сказал он, — что вы можете отпустить наряд. Сопротивления мы не встретили.

— А вы ожидали, что весь корпус с пушками и пулеметами станет мне на защиту, один был при мне казак, да тот прошмыгнул мимо вас, как заяц, — с горечью сказал я. — Не те времена, господа, теперь, чтобы генералы могли сопротивляться.

Было решено, что мы поедем с молодым человеком на извозчике, а юнкера пойдут по домам. Во втором часу мы молча поехали по городу. Ехал вооруженный револьвером генерал и с ним штатский. Ничего подозрительного. Возвращались, может быть, с какой-нибудь пирушки. Город был тих и пустынен. Мы никого не встретили. Если бы я хотел бежать, я мог бы бежать сколько угодно. Но я бежать не хотел.

VIII.

НА ДОПРОСЕ У КОМИССАРА.

Знакомое здание корпуса. Помещение комиссариата. Как я был недальновиден, что отказался от комфортабельной комнаты с пружинной кроватью. Все было бы гораздо скорее, я успел бы выспаться, и не пришлось бы ночью ехать на плохом извозчике.

Почти пустая просторная казенного типа комната. Тускло горит электричество. У простенка между окнами небольшой стол. За ним три человека. Посредине молодой чело-

век, с бледным, красивым, одухотворенным лицом, с большими возбужденными глазами. Маленькие усы над правильным ртом. Одет чисто, в форму поручика саперных войск. Это, как я узнал впоследствии, поручик Станкевич [22], комиссар Северного фронта и правая рука Керенского. Справа — маленький, сгорбленный лохматый рыжий человек, в рыжем пиджаке. Скомканная рыжая бороденка и усы, бегающие рыжие глазки — типичный революционер, как их описывают в романах, какой-нибудь «товарищ Мирон», или «товарищ Тарас» — вероятно в свое время пострадал за убеждения. Но лицо умное и, несмотря на всю свою некрасивость, — симпатичное. «С умными людьми всегда легче иметь дело», подумал я. Это был помощник комиссара, Войтинский [23], большевик, идейный человек, ставший на защиту армии от разрушения. Я слышал про него много хорошего. И, наконец, по левую руку уже знакомый мне вольноопределяющийся Савицкий. Этот пронизывает меня своими красивыми, черными глазами. Так и говорит: «Что, попался-таки, голубчик». Справа у стены на диване четыре человека, по костюму рабочие. Лица тупые, серые, безразличные. Вероятно представители псковского «исполкома». Весь *трибунал* налицо.

Станкевич предложил мне сесть. Начался допрос. Почему я оказался в эти тревожные дни в Пскове? Ответ прост: получил предписание вступить в командование III конным корпусом и ехать его принимать. У меня и предписание с собою.

— Почему именно вас, а не кого-либо другого наметил Крымов, а потом Корнилов на должность командира III корпуса? — спросил Войтинский.

— Корпус мне хотели дать давно, еще весною. Генерал Алексеев [24] выдвигал меня на корпус, и я знал, что я получу или VI, или III. — Третий освободился раньше, мне его и дали.

— Не дали ли его вам по политическим убеждениям? — вкрадчиво спросил меня Войтинский.

— Я солдат, — гордо сказал я, — и стою вне политики. Лучшим доказательством вам служит то, что я оставался до последней минуты при убитом на моих глазах комиссаре Линде и старался его спасти. А комиссар Линде один из крупных виновников революции.

Меня попросили подробно рассказать о смерти Линде, о чем в Пскове только что узнали. Я рассказал все, чему был очевидцем.

Мой рассказ расположил судей в мою пользу. Они стали совещаться между собою.

— Знаете ли, вы, — сказал мне Войтинский, — что Корнилов арестован своими войсками и Керенский вступил в верховное командование?

— Это верно?

— Я вам говорю.

Я посмотрел на Войтинского. Да этот человек не лжет. Он может заблуждаться в своих политических теориях, но в фактах он лгать не будет.

— Генерал Алексеев принял на себя должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего, — продолжал Войтинский.

— Это хорошо, — сказал я. — Генерала Алексеева очень уважают в армии.

— Вы видите, что вся эта авантюра, задуманная Корниловым, рухнула, — сказал Станкевич, — она пошла не на пользу, а во вред армии. В частности в III конном корпусе, считавшемся самым твердым, началось полное разложение. Необходимо теперь всем стать на работу и приняться за оздоровление армии.

— Поздно, — сказал я. — Армия погибла. У нас толпа, опасная для нас и безопасная для неприятеля.

Допрос начал принимать форму беседы. Я скоро понял, что Войтинский и Станкевич на моей стороне, обвинитель только один — Савицкий, члены исполкома, как статисты в плохом театре, во всем соглашались.

Было решено, что я дам подписку о том, что без ведома комиссара не выеду из Пскова, и буду отпущен к себе домой. Я написал эту записку. Ведь, оставаясь в Пскове, я тем самым исполнял вторую часть приказа Корнилова, высказавшего пожелание, чтобы побольше генералов было в Пскове.

Станкевич был так любезен, что даже обещал послать моей жене телеграмму о том, что я жив и здоров.

В третьем часу я вышел из комиссариата и побрел пешком отыскивать свою квартиру. Долго я бродил по мало знакомому мне городу, пока, наконец, не нашел своего дома и не улегся продолжать спать уже при свете наступающей зари.

На другой день, 31-го августа, я был с докладом о том, что произошло со мною ночью, у начальника штаба, генерала Вахрушева, а потом у и. об. главнокомандующего Бонч-Бруевича. Ни тот, ни другой не возмутились моим ночным арестом.

— Что поделаете, — сказал мне своим грубым голосом Бонч-Бруевич, бывший на этот раз один, без ассистента из комиссариата. — Вот вчера на улице солдаты убили офицера

за то, что он в разговоре с приятелем сказал «совет собачьих и рачьих депутатов». И ничего не скажешь. Времена теперь такие. Их власть. Я без них ничего. И потому у меня порядок и красота. И дисциплина, как нигде... Да, вы знаете, ведь Крымов-то ваш вчера застрелился.

— Как? — спросил я.

— В Петрограде, у Керенского. Да! Вот как! Я его хорошо знал. Крутой был человек. А в командование корпусом вы все-таки вступите, я переговорю с генералом Алексеевым по прямому проводу. Корпус надо успокоить. А вас донцы знают...

На том мы и расстались, что я вступлю в командование корпусом по получении разрешения от Алексеева, что корпус будет включен в число войск Северного фронта и расквартирован в районе Пскова. Алексеев ответил приказом о допущении меня в командование корпусом и о подчинении корпуса главнокомандующему Северным фронтом. Я пошел к генерал-квартирмейстеру, генералу Лукирскому, чтобы наметить с ним квартирные районы, написал приказ корпусу о сосредоточении его к Пскову и пошел к помощнику начальника военных сообщений, полковнику Карамышеву, чтобы с ним вместе распутать все бродячие эшелоны.

Штабу корпуса было отведено помещение в квартире смотрителя псковской тюрьмы, где я вечером того же дня и устроился вдвоем с сотником Генераловым — я и он — это был весь наш штаб, а работы предстояло масса.

IX.

МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ III КОННОГО КОРПУСА.

Люди задумывали планы, и планы эти казались им вполне исполнимыми и великолепными, но вмешивалась судьба и разрушала все эти планы и устраивала так, что результат того, что делали люди, был совершенно обратен тому, чего они хотели достигнуть.

Крымов застрелился. Это неправда, что его будто бы убил на квартире Керенского ад'ютант Керенского. Крымова всюду и везде неотлучно сопровождал честнейший и благороднейший офицер под'есаул Кульгавов. Он мне подробно доложил все обстоятельства смерти Крымова, и я не имею ни малейшего основания сомневаться в правдивости его показания. Да, у Крымова, как у человека сильной воли, было слишком много причин, чтобы покончить с собою.

Разговор с Керенским был очень сильный. Крымов кричал на Керенского, потом поехал к beau-frère'у Керенского, полковнику Барановскому, и у него прилег в кабинете на оттоманке. Кульгавов был рядом в комнате. Никто не вхо-

дил к Крымову. Через некоторое время раздался выстрел. Кульгавов бросился в комнату. Крымов лежал на оттоманке смертельно раненый, револьвер валялся на полу. Это не была инсценировка самоубийства, но само самоубийство. Через некоторое время Крымов скончался, и армия его, шедшая на Петроград, осталась без вождя.

Все разваливалось. Штабные команды никого не признавали и не слушались. Начальник штаба, генерал-майор Солнышкин, слабый, безвольный человек, притом алкоголик, в решительные минуты безнадежно напивавшийся, не мог подобрать штаба. Начальник Уссурийской конной дивизии генерал-майор Губин был совершенно растерян. Почва ушла у него из-под ног, и он не знал, что делать. Драгуны арестовали полковника Шипунова и большинство офицеров, и ими правил, опираясь на комитет, его помощник, ловкий штабофицер, надеявшийся пройти, пользуясь смутой, в выборные командиры полка; в Уссурийском полку командиром был суетливый, но бестолковый полковник Пушков, в остальных полках дивизии командиров не было, они были в отсутствии, а исправляющие их должность старались как можно меньше делать, руководствуясь тем мудрым правилом, что тот, кто ничего не делает, тот не ошибается.

И вот, потянулись комитеты к комиссарам. Я еще не успел вступить в командование корпусом, как увидел желтые погоны уссурийцев в садике кадетского корпуса и среди них Войтинского, увидел драгун с их председателем комитета, юным мальчиком, вольноопределяющимся Левицким, толпящихся возле Станкевича.

Le vin est tiré, il faut le boire.

Спасать Россию не пришлось. Передо мною стояла задача более скромная — спасать офицеров, оздоровлять корпус, восстановлять в нем порядок, хотя бы настолько, чтобы корпус не был опасен для мирных жителей. Это могли сделать по тогдашнему состоянию корпуса только комиссары.

Я пошел к Станкевичу и Войтинскому.

И Станкевич, и Войтинский, и Савицкий, в особенности первые два, с полною отзывчивостью, скажу более — сердечностью, отнеслись к этому деликатному делу уговаривания солдат и казаков и примирения их с офицерами. Войтинский, разминая свою рыжую бороденку, целыми часами говорил с комитетами и делегатами от сотен и эскадронов и отвечал на самые дикие вопросы. Ему несли жалобы не только на то, что когда-то было претерпено от офицеров, но даже на то, что они в будущем могли потерпеть. Казаки и солдаты торговались, добиваясь удаления некоторых офицеров, и почти всегда лучших, наиболее честных и стойких, и возвышения различных интриганов и воров. Войтинский их убеждал, советовался со мною и взаимными усилиями, рабо-

тою до поздней ночи мы достигли того, что части вернули своих начальников и стали им повиноваться.

Одною из целей похода Корнилова на Петроград было уничтожить комиссаров и комитеты, которые были всеми признаны крайне вредными. Ближайшим результатом неудачи похода было усиление комиссаров и поднятие значения комитетов, признание самими начальниками их необходимости. Я с самого начала революции боролся против комитетов, низводя их на степень только хозяйственного контроля, артели, кооператива для закупок, и первый комиссар, которого я увидал, был Линде; теперь мне пришлось целыми днями беседовать с комитетами и быть частым гостем у комиссара и его помощника, и это было вызвано действительно необходимостью.

Но был результат гораздо худший. Неудача Крымова подняла большевиков и усилила их позицию в Петроградском Совете, и не прошло и трех дней после того, как Керенский взял на себя бразды правления в армии и флоте, как он почуял более сильную опасность слева — со стороны большевиков. «Завоеваниям революции» угрожали не правые круги, притихшие и подавленные под солдатским террором, а анархия и большевизм. Как ни странно это было, но за первою помощью Керенский обратился к тому самому III конному корпусу, который шел арестовать его.

1-го сентября к Пскову собрались Приморский драгунский и Уссурийский казачий полк и стали разгружаться и расходиться по деревням: драгуны в большем порядке, уссурийцы в порядке относительном. Все остальные части были повернуты обратно и направлены на Псков, а 2-го сентября в 8 часов вечера за мною экстренно приехал ад'ютант начальника штаба фронта и повез меня в штаб. Мне передали шифрованную телеграмму от Верховного Главнокомандующего Керенского о том, что в виду возможности высадки немцев в Финляндии и беспорядков там, необходимо сосредоточить 1-ю Донскую дивизию в районе Павловск — Царское, штаб в Царском, а Уссурийскую дивизию в Гатчино — Петергофе, штаб в Петергофе.

Каждый из нас, уже по самой дислокации корпуса, понимал, что беспорядки в Финляндии и высадка немцев это тот фиговый листок, которым прикрывались настроения Смольного института и открытая пропаганда Ленина в войсках Петроградского гарнизона.

Я был в отчаянии. Только-что сделанная работа успокоения разрушалась. Кто поверит, что ожидается высадка немцев? Скажут: опять контр-революция, опять измена. Вся надежда была на подпись Керенского и на комиссаров. И действительно, Керенскому поверили, а Войтинскому и Станкевичу удалось уговорить полки, что приказ надо испол-

нить. Но. конечно, главное было то, что никто ни оружием, ни словами не мешал нам в походе — большевики еще не были готовы. К 6 сентября корпус сосредоточился на указанных местах.

X.

ПЕТРОГРАДСКИЕ НАСТРОЕНИЯ.

В революционном Петрограде и его воинских учреждениях я был первый раз. 4 сентября я приехал со штабом в Царское Село и в час дня явился к главнокомандующему Петроградским военным округом. Таковым оказался мой старый знакомый по Л.-Гв. Измайловскому полку, генерал-майор Теплов. Эта милейшая личность, гуманнейший человек, любитель литературы, изящных искусств, поэзии, совсем невоенный, всегда отличавшийся либеральными взглядами, был схвачен Керенским и посажен на место главнокомандующего. Главнокомандующим он, кажется, был всего пять дней.

26 лет я прослужил в войсках гвардии и Петроградского округа. Я помню округ при великом князе Владимире Александровиче, и я бывал в штабе, когда начальником штаба был Бобриков. С представлением о штабе была связана известная таинственность, серьезность, почти святость учреждения. Важный швейцар, безупречная чистота прихожей и лестницы, тишина в величественной приемной, где висят портреты бывших командующих войсками. Солидные посетители — генералы в орденах и лентах, почтенные вдовы, редко-редко штатский, да и тот во фраке или виц-мундире какого-либо ведомства.

Теперь у под'езда, в образе часовых, стояло два юнкера 1-го военного Павловского училища. Я сам кончил Павловское училище и был фельдфебелем роты его величества и потому знаю, что такое был юнкер Павловского училища на часах. Душевно — он священнодействовал, телесно это была прекрасно отделанная статуя, неподвижно замершая на своем посту — лепи с него модель или пиши картину.

Теперь у под'езда болтались, разговаривая и пересмеиваясь, два молодых человека, длинноволосых, растрепанных, небрежно, мешковато одетых в шинели с священными для меня погонами Павловского училища. Было больно смотреть на них. Да, демократизация армии совершилась, она началась вот здесь, у этого строгого здания Александровской эпохи, а окончилась под Тарнополем и Ригой, убийством Линде и теперешним моим положением корпусного уговаривателя...

Тот же швейцар, но растерянный, недоумевающий, не знающий что делать. Он сидел в углу у вешалки, заваленной сотнями пальто, и уже никому не помогал ни раздеваться, ни одеваться. Меня он узнал и только безнадежно махнул рукой. По лестнице непрерывное движение вверх и вниз солдат и молодых людей, то поодиночке, то группами, грязно, небрежно одетых. Лестница и приемная заплеваны и засыпаны семячками. Каждый идет куда ему угодно, на дверях наклеены бумажки с небрежно сделанными надписями, что за ними и, конечно, на первом плане — «политич. комиссар».

В приемной на меня, одетого по форме, при походной аммуниции, смотрели как на чучело. Сюда каждый являлся по-товарищески в расстегнутой рубахе, без пояса, а многие уже без погон. Демократизация армии завершила свой круг и подходила к большевизму.

Теплов меня сейчас же принял. В его добрых глазах стояли слезы. Большая борода поседела и была растрепана.

— Да, вот в каком виде вы меня видите, сказал он. — А штаб-то! Помните?

Портреты начальников штабов былой эпохи грозно смотрели на нас со стен. Казалось, их души были с нами и возмущенно шептались кругом. В громадные окна глядел чудный сентябрьский день и Александровская колонна с Ангелом мира, осиянная солнцем. Тени прошлых великолепных парадов, бывших на этой площади, теснились в воспоминании, и надо всем лежала печать томительной и безысходной грусти. Тут, больше чем где-либо, понял я, что мы дошли до конца, и дальше итти уже некуда. Дальше— пропасть.

— Какие указания я вам могу дать?—говорил Теплов.— Я здесь калиф на час. Может быть, завтра уже меня не будет. Скажу одно — идет борьба за власть. С одной стороны, Керенский, который все-таки хочет добра России и хочет ее с честью вывести из тяжелого положения, но подле него никого; с другой — Совет солдатских и рабочих депутатов, которым уже овладели большевики с Лениным и который становится все более и более популярным среди Петроградского гарнизона. Вы вызваны для борьбы против него, а сможете ли вы бороться? .. Да . . . тяжелые времена! .. Но помочь ничем не могу. Я . . . ведь до завтра.

Теплов и «до завтра» не досидел на своем посту. В тот же день из вечерней газеты я узнал, что Керенский отставил его и на его место назначил командовавшего в моем же корпусе 1-м Амурским казачьим полком генерального штаба полковника Полковникова [25].

Полковников — продукт нового времени. Это тип тех офицеров, которые делали революцию ради карьеры, летели как бабочки на огонь и сгорали в ней без остатка. В япон-

скую войну 1905 года — это двадцатидвухлетний офицер, донской артиллерист, проникнутый священным пылом войны и жаждой славы. Он прекрасно и лихо работает с казаками. После войны — академия генерального штаба; дальнейшая карьера идет гладко, и к 1917 году он командир 1-го Амурского полка, чуть-что не выборный, пользующийся большой популярностью среди казаков. Поход Крымова. Полковников чует своим хитрым сердцем, что солдаты и казаки колеблются, отрывается от полка и мчится в Петроград к Керенскому.

34-летний полковник становится главнокомандующим важнейшего в политическом отношении округа с почти 200.000-ю армиею. Тут начинается метание между Керенским и Советом и верность *постолько-посколько.* Полковников помогает большевикам создать движение против правительства, но потом ведет юнкеров против большевиков. Много детской крови взял на себя он... И в конце концов Полковников в марте 1918 года зверски повешен большевиками на Дону, в Задонской степи, на зимовнике Безуглова.

Но теперь—Полковников, об измене которого Корнилову знал весь корпус, становится начальником и распорядителем корпуса. Полковникову приходилось докладывать секретные планы и совещаться с ним о работе, не зная, с кем он идет — с большевиками или против них.

Керенский, взявший на себя управление армией, на первых же шагах своей деятельности запутался до крайности. 30-го августа его начальник штаба, генерал Алексеев, подтвердил мое назначение на пост командующего III конным корпусом. Керенский одобрил это, отдавал мне приказания, а 9-го сентября, не сменяя меня, допустил к командованию тем же корпусом начальника 7-й кавалерийской дивизии, барона Врангеля [26].

Растерянный, истеричный, ничего не понимающий в военном деле, не знающий личного состава войск, не имеющий никаких связей и в то же время не любящий с кем бы то ни было советоваться, Керенский кидался к тем, кто к нему приходил. Врангель случайно приехал в эту минуту в Ставку. Керенский знал, что Крымов застрелился, что корпус в Петрограде, и предложил Врангелю корпус, не думая обо мне. Меня это только развязывало. Я подал решительно в отставку. Но тут ввязались в дело казачьи комитеты. Они уже почуяли власть, притом в Донской дивизии я был любим, а Уссурийская начинала любить меня, комитеты явились к Керенскому и потребовали, чтобы я оставался командиром корпуса, потому что я казак и корпус казачий, а барон Врангель немец. Керенский сейчас же согласился с комитетами, и меня оставили, а Врангелю стали искать другой корпус, чтобы он не обиделся.

Во главе военного министерства был поставлен Верховский[27] — революционный паж. В бытность в Пажеском корпусе за какую-то проделку, показавшуюся корпусному начальству слишком либеральной, Верховский был отправлен рядовым в Туркестан. Там был произведен в офицеры и кончил Академию Генерального штаба. Репутация либерала и революционера осталась за ним. Верховский был водворен на Мойку, в дом военного министра. Он решительно не знал, что ему делать и пошел по самой модной линии. Приемная его наполнилась солдатами, делегатами и депутатами, он проводил, выслушивая их, целые дни, начиная прием с 8 час. утра. Когда я был у него со своей отставкой 18 сентября — ему представлялись какие-то представители нового, не то польского, не то украинского корпуса, бравые молодцы, одетые в опереточную форму с малиновыми и голубыми лампасами на черных рейтузах.

— Не правда ли, хорошо? Не правда ли, красиво? — говорили они мне, охорашиваясь перед тем, как войти в кабинет министра.

Что же дала нам революция в смысле правильных назначений на командные должности и выдвигания истинных талантов? Прежде всего, новые правители стремились омолодить армию, выбить из нее старый режим и контр-революцию и посадить людей, сочувствующих революции и новым порядкам. Но свелось к тому, что стройная, может быть не всегда правильная и справедливая, но все-таки система назначений по кандидатскому списку, строго продуманному, после самого серьезного и тщательного рассмотрения аттестаций, составленных целым рядом начальников, сменилась чисто случайными назначениями и самым неприличным протекционализмом. Всюду вылезали вперед самые злокачественные «ловчилы», которые тянули за собой других таких же, грязь и муть поднимались со дна армии. Каждый начальник быстро понял характер Керенского и истеричность его натуры, и многие стали проталкиваться вперед, валя тех, кто стоял на пути. Всякое средство было хорошо, всякая протекция годилась. Даже Совет солдатских и рабочих депутатов было хорошее и, пожалуй, даже самое верное средство занять высокое положение. Немудрено, что Верховский и Полковников протолкались вперед.

Мне нужно было сменить начальника Уссурийской дивизии, который слишком пал духом и подпал под влияние комитета, и дивизией фактически командовал его начальник штаба и председатель дивизионного комитета, ловкий мальчишка, вольноопределяющийся Левицкий. Но Губин цеплялся за место и ездил к Керенскому, отстаивая свое право.

В трех полках Уссурийской дивизии не было командиров, хороший командир полка 1-й Донской дивизии, вой-

сковой старшина Бочаров не был утвержден в должности. Мои ходатайства, мои просьбы и рапорты о назначениях валялись без ответа, и все это не способствовало укреплению порядка в частях корпуса.

У Керенского не было для его поста главного — *воли*. Не было власти — настоящей власти, а не позирования на власть; и под его командованием армия, разрушенная снизу, в корне подточенная революцией, гибла сверху.

Есть такая скверная поговорка: «рыба с головы воняет» — и вот эти-то дни тяжелый смертный дух потянул от армии, от тех начальников, которые в лучшем случае ничего не делали, в худшем — работали на два фронта: и Временному правительству и большевикам.

Не хочется, да может быть и не нужно — судьба все равно сурово покарала их расстрелами, нищетой, эмигрантством за границей, — не хочется называть фамилий, но сколько людей в это время уподобились той старушке, которая, стоя перед изображением страшного суда, где были нарисованы ангелы в раю и черти в аду, ставила две свечи— одну ангелу, другую дьяволу, ибо неизвестно, куда попадешь, в рай или в ад. Так и эти начальники кланялись и забегали, и возили свои доклады Керенскому и в Совет, на всякий случай, а что из этого выходило, то будет видно из дальнейшего.

Керенского за все время я ни разу не видал. Он меня к себе не требовал, а мне не зачем было итти к нему. Чем он мог мне помочь? С меня довольно было и комиссаров. Я знал, что он мне не доверял, потому что я был старорежимный генерал и не скрывал своего отвращения к новым порядкам.

X.

РАБОТА В КОРПУСЕ.

Но, что бы ни было на душе, работать было нужно и работать, не покладая рук. Жизнь этого требовала.

Керенский правильно учел значение присутствия III конного корпуса под Петроградом. Совет солдатских и рабочих депутатов присмирел. Царскосельский гарнизон, когда кругом стали донцы, изменился до смешного. Солдаты начали чисто одеваться и отдавать честь офицерам. Все это сделало только то, что появились нерасхлюстанные части, что у ворот дворца великой княгини Марии Павловны стоял чисто одетый часовой, который не лущил семячек, казаки праздно не шатались по городу, а те, кто появлялся на улицах, были чисто одеты и отдавали щеголевато честь офицерам. Одна внешность уже влияла оздоровляющим

образом, надо было поддержать ее и воспитать снова офицеров и казаков.

Как и на Юго-Западном фронте, и здесь интендантство Петроградского военного округа широко пошло мне на помощь. Удалось получить даже серо-синие шаровары, о которых так мечтали казаки. Я опять начал с материального, с одежды и кухон, но не оставлял и морального воздействия на части.

6 сентября начальники дивизий донесли мне о том, что полки собраны и расквартированы в указанных им районах. 7 числа, в 10 часов утра, я был в Пулкове в районе расположения 9-го и 10-го Донских казачьих полков. В просторной сельской школе были собраны все офицеры и большая часть урядников полков. Прибыло много казаков, моих старых сослуживцев, для того, чтоб посмотреть на меня.

Я коротко и совершенно откровенно рассказал офицерам и казакам обстановку. Я не скрывал от них, что цель нашего присутствия в Петрограде не столько угроза немецкой высадки, сколько страшная темная работа большевиков, стремящихся захватить власть в свои руки.

Дорогие мне лица окружали меня. Я видел пламенные, восторженные взгляды моих соратников под Бедежем, Комаровым, Незвинской, Залещиками и многих, многих дел. Я чувствовал, что среди них я свой.

Я кончил.

— Ваше превосходительство!—раздались гулом голоса, — не извольте ни о чем беспокоиться. Мы — корниловцы! Велите — и мы вам Керенского самого предоставим. Мы понимаем, где порядок.

Я тронулся к выходу. Толпа меня провожала. Старый бригадный командир, полковник Толоконников, с красным лицом, длинными седыми усами и седою бородою, со слезами на выцветших бледно-серых глазах поднял руку и остановил поток голосов. «Неужели речь? — подумал я, — как это было бы бестактно и неуместно».

Но он, в наступившей тишине, произнес верным голосом первое слово Донского гимна-песни. И все офицеры и казаки, не сговариваясь, дружно грянули:

Всколыхнулся, взволновался
Православный тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв монарха он...

Все сняли фуражки. Так под могучие напевы этой песни я сел в автомобиль и с нею в сердце и в душе уехал из Пулкова в Петроград в штаб округа, к полковнику Полковникову.

«Ну, эти, — думал я про казаков 9-го и 10-го полков, — надежны, эти не подведут», и решил иметь их как свой последний резерв.

В 5 часов дня того же 7-го сентября я говорил в Павловске с офицерами и представителями 13-го и 15-го Донских казачьих полков. Слушали внимательно, но настроение было не то. Не было общего слияния и единой мысли. Производство Керенским двух казаков-изменников в хорунжие возымело свое действие. В одном месте, где я говорил о том, что самочинные советы солдатских и рабочих депутатов мешают работе правительства и ведут страну к внутренним потрясениям и пролитию крови, что это только жажда власти и неприличная борьба за власть, кто-то сзади крикнул по-митинговскому: — «неправда!». Крикнувшего сейчас же вытолкали сами казаки вон из помещения, но впечатление речи было потеряно. Я остался после сообщения и долго беседовал с офицерами и казаками.

Здесь были аресты казаками офицеров, доверие было утеряно, и тут надо было поработать и привести части в порядок.

Но командиры полков, полковники М. М. Иванов и Ситников были мне хорошо известны, как доблестные офицеры, и они ручались, что не отстанут от 1-й бригады Толоконникова.

8-го сентября я делал это же сообщение в Гатчине офицерам и представителям Уссурийского и Амурского полков и Уссурийского дивизиона. Сообщение делалось в громадном зале одной из гатчинских казарм, приспособленном после революции для спектаклей: говорить пришлось со сцены, и это, конечно, умаляло значение сообщения начальника. Кроме того, в зал набралось много посторонних солдат гатчинской автомобильной школы. Несмотря на это, беседа прошла гладко. Оставшись потом с офицерами, я с грустью убедился, что здесь опасность угрожает именно от офицеров. Большинство были безнадежно серы по своему образованию и воспитанию. Они нисколько не возвышались над рядовыми казаками, во многих отношениях были ниже их. Но, главное, они не любят казаков. Возвысившись над ними дешевою ценою четырехмесячных курсов или угодливостью перед начальниками, они сторонились от казаков, и те отвечали им презрением. При обходе мною помещений, занятых полками, я всюду видел грязь, неряшливость и запущенность. В Амурском полку несколько казаков не имели сапог, белье было заношено, шаровары и рубахи порваны. Маленькие монгольские лошадки их стояли понурившись, нечищенные и некормленные. На все ответ один: нет, не получали, не добились ...

Здесь работа нужна была громадная, а работать было некому. Командира бригады не было. Командир Уссурийского полка, полковник Пушков, был не казак и не сумел сойтись ни с офицерами, ни с казаками, командир Амурского полка, Полковников, милостью Керенского командовал всеми нами, а вместо него в полку был штаб-офицер, который для виду занимался широкой политикой отделения Амурских казаков от России. Несколько лучше был Уссурийский дивизион.

Вечером я был в Петергофе в манеже Конногвардейского полка, по революционной моде обращенном в театр-кабаре, кинематограф и еще какую-то пакость. Командир Приморского полка перестарался, и, воспользовавшись громадностью помещения, нагнал весь полк. При моем приходе никто не встал, а командир полка не скомандовал «встать», и пришлось это скомандовать самому. Между каких-то павильонов и пестрых киосков толпились солдаты Приморского и казаки Нерчинского полков. На лицах в большинстве — тупая скука, но у некоторых раздраженное любопытство с примесью злорадства. Говорить опять пришлось с эстрады. Поднявшись на нее, увидал, что в манеже не мало постороннего элемента. Какие-то штатские, какие-то дамы. Попросили удалиться. Ушли не без протеста, да могли и не уйти. Наступал вечер, в углах манежа клубились сумерки. Беседа потеряла характер интимности. Вместо ярких, выпуклых фактов пришлось говорить общими местами. Когда я начал говорить о необходимости строевых занятий и о том, как их вести, чтобы заинтересовать солдата, — большинство солдат демонстративно встало и начало уходить. Пришлось прикрикнуть на них и заставить вернуться. Привычка к митингам выявляла себя. После беседы раздались аплодисменты, а из темных углов крики «долой» и свистки. Командир Приморского полка заверял меня, что это кричали не драгуны, а посторонние, жаловался на то, что с последним пополнением ему прислали развращенных солдат, настоящих большевиков. Было уже темно, когда я сквозь густую толпу солдат проходил к автомобилю. Однако, враждебного отношения к себе не заметил. Старались не толкаться. Из толпы я выехал в полной тишине.

Гадко, склизко и противно было на душе, когда я вернулся. Строил планы работы, как оздоровить весь этот материал, и всюду натыкался на одно главное препятствие — не было офицеров. Офицеры, даже и лучшие, кадровые, ушли от солдат, как солдаты ушли от офицеров. Испытавши унижение ареста, они уже боялись своих солдат и не верили им.

Раньше мы говорили офицерам: станьте ближе к солдату, не отходите от него, и офицер самоотверженно шел

в солдатскую землянку и был все время солдатом. Они поверяли друг другу свои думы, вместе мечтали о славе, о награде, о подвигах, об отдыхе, о возвращении домой после победы. Вместе пели свои хорошие солдатские песни.

Как я скажу теперь офицеру: станьте ближе к солдату, когда тихой беседы быть не могло? Злобно отворачивались серые глаза солдата от офицера, и на кроткую беседу слышался дикий выкрик: «Га, — мало кровушки нашей попили»...

Стена стояла между ними. Военного братства не было, и надо было его вернуть. Конечно, не спектаклями и кинематографами, а старой песнею, общими учениями и маневрами...

Таковы были планы, таково было тяжелое мучительное настроение на душе в эти сентябрьские дни, когда я даже не знал хорошенько, я или барон Врангель командует третьим конным корпусом.

XII.

ОТНОШЕНИЕ К КОРПУСУ НАВЕРХУ.

В середине сентября, ближе ознакомившись с петроградскими настроениями и с составом своего корпуса, я составил доклад, в котором указывал на необходимость, в противовес Совету солдатских и рабочих депутатов, Петроградскому гарнизону и вооруженным рабочим для поддержки правительства и обеспечения правильных и спокойных выборов в Учредительное собрание и самой работы Учредительного собрания, сосредоточить в ближайших окрестностях Петрограда очень надежную конную часть с большою артиллерией, при чем одну треть по очереди держать в самом Петрограде. Сделавши характеристику III конному корпусу, я предлагал: Уссурийскую дивизию, как мало надежную, убрать в другое место. Вместо нее в корпус влить гвардейскую казачью и 2-ю казачью сводную дивизию; гвардейцев поставить в их постоянных казармах, где они по привычке перешли бы на мирное положение и восстановили бы внутренний порядок. Гвардейским офицерам хорошо была знакома вся тактика городской войны и Петроград был им известен до мелочей. Революционные же казачьи полки 1-й, 4-й и 14-й отправить на Дон, где они, несомненно, оздоровели бы, соприкоснувшись со своими родителями.

Но кому я отдам этот доклад?

По закону, я должен был представить его по команде Полковникову.

А был я уверен в том, что Полковников идет за одно с правительством, а не против него?

Был ли я уверен в самом Керенском? По чистой совести отвечу — нет.

План был создан, рассмотрен с начальником 1-й Донской казачьей дивизии, с начальником штаба и штаб-офицером генерального штаба, всеми одобрен, его надо приводить в исполнение и приводить в исполнение спешно, потому что выборы не за горами, власти для этого у меня нет, а тем, у кого власть, я не верю.

Пойти по старому пути к комиссарам? — Но Войтинского и Станкевича, которым я верил, что они не с большевиками, здесь не было, это их не касалось, а комиссар Петроградского округа, капитан Кузьмин, произвел на меня отталкивающее впечатление очень хитрого человека, глубоко конспиративного, неизвестно к чему стремящегося.

Я не политик и решил итти прямым солдатским путем. 16 сентября я поехал к Полковникову и доложил ему на словах, а потом передал и письменный доклад. С его стороны я встретил полное сочувствие этому, и мне показалось, что мои подозрения напрасны и что он в полной мере воспринял мою точку зрения. Он обещал очень осторожно нащупать Керенского и сделать ему об этом доклад.

— С Черемисовым (главнокомандующим Северного фронта), — сказал он, — говорить не стоит. Я уже имею приказание передать корпус ему и отправить вас в район г. Острова, где он войдет в V армию и будет считаться в резерве главнокомандующего. Но это надо расстроить. Они думают только о себе, а не о России.

Тем не менее, вернувшись в штаб корпуса в Царское Село, я нашел приказание приступить к перевозке корпуса в район Острова и отдал об этом распоряжение.

Но, повидимому, Полковников все-таки попытался бороться за оставление III конного корпуса под Петроградом. Прошла неделя, а мы не могли добиться эшелонов для спешной перевозки корпуса. Шла какая-то невидимая борьба. В штабе округа мне передавали, что Совет солдатских и рабочих депутатов очень недоволен присутствием корпуса в Царском Селе и настаивает, чтобы его убрали подальше.

«Ну, — подумал я, — если Совет этого хочет, Керенский непременно это сделает, а потом будет каяться. Но будет поздно».

Так и вышло. 26 сентября пришло категорическое приказание итти к Острову, и к 28 сентября все части корпуса сосредоточились в районе Острова по деревням.

28 сентября я представлялся в Пскове главнокомандующему Северным фронтом, Черемисову. В ожидании приема присматривался к обстановке. Ад'ютант с громкой еврей-

ской фамилией представителей богатого еврейского мира держался небрежно, свысока третируя меня и моего хорошего знакомого генерала Я. Д. Юзефовича, только-что назначенного командующим XII армией. У вестового в руках большевистская газета *«Окопная Правда»* [28]. Из беседы с Черемисовым выяснил, что он очень считается с местным советом солдатских и рабочих депутатов и большой сторонник демократизации армии. Понял, что мне с ним не по пути. Перед тем, как ехать из Пскова, зашел к комиссару Станкевичу. Этот молодой человек мне больше нравился. Он-то хотя был искренен, и если мы и были разных понятий, то я знал, что он честно хотел спасения армии и России. Поговорили по душе о занятиях и о необходимости перетасовать командный состав корпуса.

На другой день, 29 сентября, ко мне прибыл молодой офицер с университетским значком, отрекомендовавшийся поручиком л.-гв. Егерского полка, Матушевским, членом Исполнительного Комитета Совета солдатских и рабочих депутатов. Он прибыл с бумагами из Ставки, предлагающими допустить его до ознакомления с корпусом.

Итак, новая, побочная власть, знаменитый *исполком* уже заинтересовался корпусом. Из разговора с ним я понял, что моя докладная записка не секрет для него.

Кто же сообщил? Полковников или Керенский? Или оба вместе? Или записка забежала по пути в исполком, и исполком обеспокоился.

Матушевский приехал с самыми хорошими намерениями. Он слышал о том непримиримом отношении к офицерам, которое существовало среди команд штаба корпуса, он приехал примирить и от имени Совета, который пользуется исключительным влиянием на солдат, поговорить с корпусным комитетом.

Надо было выгнать его. Но выгнать его — это окончательно порвать те тонкие нити, которыми я только-что связывался со штабными командами. Решил устроить заседание штабного комитета, но в своем присутствии.

Вечером я пришел в заседание, но оказалось, что Матушевский забежал раньше меня, и я застал не беседу, но форменный солдатский митинг со страстными речами, с криками: «правильно» и «долой».

Однако, при мне все затихли.

Председательствовал председатель комитета, солдат Соловьев, желчный, болезненный человек из петербургских мастеровых, очень неглупый, с которым даже приятно было говорить с глазу на глаз, настолько верно понимал он нашу разруху и настолько искренно скорбел о прошлом. Но он ненавидел офицеров всеми фибрами своей души, ненавидел беспричинно за одно то, что они офицеры.

Говорил солдат Коржиков, — искровой команды, большевик. Это тоже петроградец, но из зажиточной купеческой семьи. Он страстно обвинял начальника искровой станции и офицеров штаба в измене на фронте. Измена заключалась в том, что когда-то, еще до революции, начальник искровой станции и другие офицеры привели своих знакомых дам на станцию, показывали им действие искрового телеграфа, об'ясняли его устройство и принимали при них радиотелеграмму. В этом была измена и предательство. Коржиков истерично кричал, требуя немедленной смены этих офицеров и предания их военно-революционному суду. Глаза солдат горели злобой и ненавистью.

После него говорил Соловьев. Он еще подлил масла в огонь, и настроение команд было таково, что, казалось, солдаты вот-вот бросятся на офицеров и разорвут их.

Тогда выступил Матушевский. Он отрекомендовался членом исполкома, и это произвело сильное впечатление на комитет. Говорил он отлично, с приемами мастера оратора, то понижая голос до шопота, то доводя его до страстного болезненного крика. Это была защита офицеров. Яркая, блестящая защита. Она не убедила солдат, но она утишила злобу и залила огонь страстей.

На этом надо было кончить и расходиться. Но тут выскочил с ненужными и неуместными оправданиями начальник штаба Уссурийской дивизии, генерального штаба капитан Смирнов, с крайне бестактной речью, и все пропало. Началось общее возбуждение и крики с мест.

Пришлось сказать мне. Я сказал о заслугах перед родиной III корпуса, о его славе и сказал, что этой славою корпус обязан офицерам.

Речь моя усмирила солдат, и мы разошлись более или менее мирно. За ужином Матушевский, которого офицеры просили рассказать им о таинственном *исполкоме*, произнес горячее слово в защиту большевиков, Ленина и Троцкого.

Когда он кончил, кто-то из офицеров сказал:

— За ними никто не пойдет.

Матушевский встал. Лицо его было бледно.

— За ними не посмеют не пойти, — тихо, почти шопотом произнес он. — Вы не знаете, кто такой Троцкий. Поверьте мне, когда будет нужно, Троцкий не задумается поставить гильотину на Александровской площади и будет рубить головы всем непокорным... И все пойдут за ним...

Стояла гробовая тишина. Впечатление его слов было ужасно. Я понял, что так оставить этого нельзя. Я встал и сказал несколько слов на тему о той Голгофе страстей, на которую восходит офицерство, о той великой крови, которую оно льет на защиту родины. После Голгофы было

светло-христово воскресенье, я глубоко верую в то, что кровь офицеров пролита не напрасно...

Матушевский ночевал у меня и уехал рано утром. Прощаясь, он сказал мне:

— В вас мы имеем сильного противника... А, может быть, еще сойдемся...

Ясно было одно: взоры исполкома обращены на нас.

XIII.

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО.

На новых квартирах я повел ту же работу, что когда-то вел в 1-ой Кубанской дивизии. Каждый день определенная часть корпуса была в маневре, почти всегда в моем присутствии, после маневра разбор, отдача в приказе всех ошибок. Два раза в неделю беседа с офицерами. Во всех полках с 15 октября должны быть устроены полковые учебные команды для подготовки урядников, и широкие программы этих команд были разосланы; во всех полках были устроены библиотеки, для команд штаба был намечен ряд ежедневных бесед, по два часа по вечерам; предполагалось прочитать курсы географии и истории России, политической экономии и военного искусства. Лекторы усиленно готовились к этому по особым мною составленным программам.

Разврату и разлагающей пропаганде большевизма я решил противопоставить работу и силу образования и просвещения.

Деятельность моя, скрыть которую, конечно, нельзя было, обратила внимание. Одни сочувствовали и хотели посильно помочь, другие мешали. Я уклонялся от посторонней помощи и по мере сил боролся с мешающими.

1-го октября ко мне приехал помощник комиссара, Савицкий, с ним какая-то дама с университетским значком и А. Гликберг, известный поэт *Саша Черный* [29]. Они говорили о каких-то библиотеках и чтениях для солдат. Когда я им рассказал, как в глухих деревнях, по маленьким избам, часто без освещения вечером живут солдаты и казаки корпуса, как к ним трудно добираться осенью по распутице, когда и верхом с трудом к ним проедешь, — они задумались.

— Но, если я буду сегодня читать одной группе, а завтра другой, — робко сказала дама.

— Что читать? — спросил я.

— *Чехова* [30].

— Чехова? Десяти тысячам человек, по три и по четыре сразу? Когда же вы кончите?

Они уехали.

9 октября у меня был полковник пограничной стражи, Заневский, приехавший от главнокомандующего «зна-

комиться с настроением частей». Я его просто прогнал, чему он, кажется, был даже рад.

Все это было глупо, нудно, досадливо иногда, но не опасно.

Опасность угрожала с другого конца и скоро уничтожила корпус без остатка.

6 октября штаб Северного фронта экстренно потребовал посылки 2 сотен и 2 орудий в Старую Руссу, 2 сотен и 2 орудий в Торопец и 2 сотен и 2 орудий в Осташков.

Это было самое страшное. Это сразу прекращало воспитание солдат, вырывало части из рук старших, более опытных начальников, подрывало правильность снабжения и довольствия и ставило маленькие казачьи части и густую солдатскую массу, уже обработанную большевиками. Я исполнил приказ и отправил на эту службу весь Уссурийский казачий полк и 1½ из бывших у меня шести Донских батарей, но сейчас же написал в штаб фронта, кому только мог, просьбу этого не делать, так как это разрушает корпус, который может понадобиться в полном составе для борьбы против большевиков.

— Кому вы это пишете? — сказал мне исправляющий должность начальника штаба, полковник С. П. Попов.

— Как кому? По команде. Главнокомандующему Северным фронтом или, как по-большевистски называют, Главкосеву Черемисову.

— Да разве вы не знаете, что Черемисов заодно с большевиками, что он все время проводит в Совете солдатских и рабочих депутатов, стоит за полную демократизацию армии и попускает, а кто говорит, что и покровительствует изданию большевистской газеты «Окопная Правда»?

— Но, что же делать, Сергей Петрович? Выходит, что все начальство передалось большевикам. Тогда проще — устранить Временное правительство и передать власть большевикам мирно. Столковаться с ними, как это теперь говорится. Был Львов [31], стал Керенский, ну, будет Ленин — хуже не будет. Это прямое последствие отречения государя.

— Да, это так.

— Что же, прикажете плыть по течению?

— Но, что вы сделаете, если изменили верхи? Ведь, все это делается не без ведома Керенского. Керенский сам рубит сук, на котором сидит.

— Керенскому это простительно. Он ничего не понимает ни в военном, ни в государственном деле, но о чем же думают Черемисов и Лукирский?

— Думают, как угодить новому барину, — «грядущему хаму».

— И мы молча будем пособничать? — сказал я.

— Протестовать бесполезно.

— Будем не только протестовать, но и бороться. Может быть, и мы сумеем в борьбе обрести право свое.

Бумагу мы послали. Ответом было приказание поставить пять сотен в Пскове. Я поехал лично в штаб и эти пять сотен отстоял, но победа была вызвана не силой моего убеждения, а просто тем, что для них не нашлось в Пскове помещения, да и Совет высказался против помещения казаков в Пскове.

Итак, с октября месяца корпус оказался фактически в распоряжении у большевиков, и большевики продолжали работу по его растасовке.

8 октября штаб потребовал два полка в Ревель. Я отправил 13-й и 15-й полки. Это требование было, якобы, боевого характера. После занятия острова Эзеля немцами, командование фронтом опасалось за Ревель. Но что будет делать кавалерия в крепости, об этом не думали.

9 октября потребовали еще один полк с двумя орудиями в Витебск. Не без скандалов пошел Приморский драгунский полк. Полковой комитет заявил, что если это для действия против его братьев-солдат, то он не пойдет и работать, как жандармы, не будет.

— Ну, а если ваши солдаты-братья дезертируют с фронта, братаются с немцами, грабят и насилуют жителей, — вы будете молчать и пособничать? Ведь, это измена родине, — сказал я.

— И революции, — поспешил прибавить вольноопределяющийся Левицкий, опасаясь, что слово родина вызовет обратное действие.

— На это товарищи-солдаты неспособны, — отвечал кто-то из комитета.

— А вы ручаетесь за них?

Комитет молчал. Драгуны постановили итти. Мне было не жалко их отпускать. В случае какого-либо движения они не только не помогли бы, но внесли бы большую путаницу в действия.

21 октября потребовали 6 сотен и 4 орудия в Боровичи для усмирения тамошнего гарнизона. Там произошли обычные эксцессы. Убили начальника гарнизона и командира пехотного полка и ограбили лавки. Послал Уссурийский дивизион и часть амурцев.

Таким образом, к 22 октября от 1-й Донской дивизии оставалось — 6 сотен 9-го Донского полка и 4 сотни 10-го Донского полка (2 сотни ушли в Новгород), от Уссурийской конной дивизии было в моем распоряжении: 6 сотен 1-го Нерчинского полка и 2 сотни 1-го Амурского полка. Из бывших в корпусе 24 орудий Донской артиллерии оставалось при мне 12 орудий да было 4 орудия только-что сформи-

рованной и почти необученной, во всяком случае, ни разу не стрелявшей 1-й Амурской казачьей батареи. Вместо грозной силы в 50 сотен мы имели только 18 сотен разных полков *.

Можно ли говорить, что большевики не готовились планомерно к своему выступлению 25 октября? Но кто им помогал?

23 октября весь «корпус», то-есть оставшиеся 18 сотен, было приказано передвинуть в район Старого Пебальга и Вендена, где поступить в распоряжение штаба 1-й армии, потому что там ожидались беспорядки и массовые эксцессы. Я поехал в Псков узнать обстановку, а 23 октября отправил в штаб 1-й армии квартирьеров и приступил к погрузке 10-го Донского казачьего полка в вагоны.

25 октября я получил телеграмму. Точного содержания ее не помню, но общий смысл был тот: Донскую дивизию спешно отправить в Петроград; в Петрограде беспорядки, поднятые большевиками. Подписана телеграмма двумя лицами: «Главковерх Керенский» и «полковник Греков».

Полковник Греков, донской артиллерийский офицер и помощник председателя Совета союза казачьих войск [32], казачьего учреждения, пользующегося большим влиянием у казаков.

«Ловко,—подумал я.—Но откуда же, при теперешней разрухе, я подам спешно всю 1-ю Донскую дивизию к Петрограду?»

Тем не менее 9-й полк направил к погрузке в вагоны. 4 сотни 10-го полка приказал остановить на станции, послал телеграммы в Ревель и Новгород о сосредоточении к Луге, откуда решил итти походом, чтобы не повторять ошибки Крымова, увы, уже сделанной мудрыми распоряжениями штаба фронта.

А квартирьеры? Они уже ушли и рыщут, вероятно, по имениям и мызам, отыскивая помещения. Послал нарочного и за ними...

Сам поехал в Псков просить начальника штаба и начальника военных сообщений ускорить все эти перевозки так, чтобы хотя бы к вечеру 26-го я мог бы иметь части из Ревеля и Новгорода в Луге.

Все было обещано сделать. В штабе я нашел большую тревогу. Тихо, шопотом передавали, что Временное правительство свергнуто и не то разбежалось, не то борется в Зимнем дворце, отстаиваемое юнкерами [33]: вся власть за-

---

* Корпус состоял из 9-го (6 сотен), 10-го (6 сотен), 13-го (6 сотен), 15-го (6 сотен) Донских казачьих полков, Приморского Драгунского (6 эскадронов), 1-го Нерчинского казачьего (6 сотен), 1-го Амурского казачьего (6 сотен), 1-го Уссурийского казачьего (6 сотен) полков и Уссурийского казачьего (2 сотни) дивизиона и 6 Донских и 1 Амурской батарей.

хвачена Советами с Лениным и Троцким во главе.

Вернувшись из Пскова, я напечатал приказ, где полностью передал телеграмму Керенского и Грекова и призывал казаков к уверенным и смелым действиям. Приказ послал с нарочным в Ревель и в Новгород. После чего собрался сам и поехал на станцию Остров, где уже был погружен штаб 1-й Донской дивизии, без ее начальника, случайно бывшего в отпуску в Петрограде.

XIV.

ИЗМЕНА ШТАБА ФРОНТА.

Глухая осенняя ночь. Пути Островской станции заставлены красными вагонами. В них лошади и казаки, казаки и лошади. Кто сидит уже второй день, кто только-что погрузился. Просят, чтобы им было разрешено отправиться с первыми эшелонами, чтобы быть при первом деле.

Казаки, кто спит в вагонах, кто стоит у открытых ворот вагона и поет вполголоса свои песни:

Ах, да ты подуй,
Подуй ветер с полуночи,
Ты развей, развей тоску...

слышится откуда-то с дальнего пути.

Вдоль пути шмыгают темные личности, но их мало слушают. Большевики не в фаворе у казаков, и агитаторы это чуют.

После целого ряда распоряжений относительно остающихся частей — штаба Уссурийской дивизии, 1-го Нерчинского полка и 1-й Амурской батареи, и длительных разговоров с новым командующим дивизией, генерал-майором Хрещатицким, я в 11 часов ночи прибыл на станцию.

— Лошади погружены? — спросил я.

— Погружены, — отвечал мне полковник Попов.

— Значит, можно ехать?

— Нет.

— Но, ведь, нашему эшелону назначено в 11 часов, а теперь без двух минут одиннадцать.

— Ни один эшелон еще не отошел.

— Как? А девятый полк?

— Стоит на путях.

— Стоило гнать, сломя голову. Но, что же вышло?

— Комендант станции говорит, — нет разрешения выпустить эшелоны.

Пошел к коменданту. Комендант был сильно растерян и смущен.

— Я ничего не понимаю. Получена телеграмма выгружать эшелоны и оставаться в Острове, — сказал он.

— Кто приказывает?

— Начальник военных сообщений.

Я соединился с Псковом. Полковник Карамышев как будто бы ожидал меня у аппарата.

— В чем дело?

— Главкосев приказал выгружать дивизию и оставаться в Острове.

— Но вы не знаете распоряжения Главковерха? Итти спешно на Петроград.

— Знаю.

— Ну, так чье же приказание мы должны исполнять?

— Не знаю. Главкосев приказал. Я эшелоны не трону. И в Ревель и в Новгород послано: оставить.

Начиналась уже серьезная путаница. Надо было выяснить положение. Может быть, справились сами, одни усмирили большевиков. Одно — итти с *генералом* Корниловым против *адвоката* Керенского, кумира толпы, и другое — итти с этим кумиром против Ленина, который далеко не всем солдатам нравился.

Я послал за автомобилем, сел на него с Поповым и погнал в Псков.

Позднею глухою ночью я приехал в спящий Псков. Тихо и мертво на улицах. Все окна темные, нигде ни огонька. Приехал в штаб. Насилу дозвонился. Вышел заспанный жандарм. В штабе никого. «Хорошо, — подумал я, — штаб Северного фронта реагирует на беспорядки и переворот в Петрограде».

— А, может быть, уже все кончено, — сказал мне Попов, — и мы напрасно беспокоимся. Теперь бы спать и спать . . .

— Где начальник штаба? — спросил я у жандарма.

— У себя на квартире.

— Где он живет?

Жандарм начал об'яснять, но я не мог его понять.

— Постойте, я оденусь, провожу вас.

Полковник Попов пошел на телеграф, переговорил с Островом, там напряженно ждали, выгружаться или нет, а я поехал с жандармом к генералу Лукирскому. Парадная лестница была заперта. На стуки и звонки никакого ответа. Нигде ни огонька. Пошли искать по черной. Насилу добились денщика.

— Генерал спит и не приказал будить.

С трудом добился от него, чтобы пошел разбудить начальника штаба. Наконец, в столовую, куда я прошел, вышел заспанный Лукирский в шинели, одетой поверх белья.

Я доложил ему о том, что имею два взаимно противоречащих приказания и не знаю, как поступить.

— Я ничего не знаю, — лениво и устало сказал мне Лукирский.

— Как ничего не знаете? Но ведь вы начальник штаба.

— Обратитесь к главнокомандующему. Вы его сейчас застанете дома на совете. А я ничего не знаю.

Пошел к главнокомандующему. Весь верхний этаж его дома на берегу реки Великой ярко освещен. Кажется, единственное освещенное место во Пскове. С треском отскочил от него автомобиль с какими-то солдатами и помчался вверх по городу.

Опять тот же ад'ютант с громкой еврейской фамилией меня встретил.

— Главкосев занят на совете, — сказал он на мою просьбу доложить обо мне, — и я не могу его беспокоить.

— Я все-таки настаиваю, чтобы вы доложили. Дело не может быть отложено до утра.

Ад'ютант с видимой неохотой открыл дверь, из-за которой я слышал чей-то мерный голос. В открытую дверь я увидал длинный стол, накрытый зеленым сукном, и за ним человек двадцать солдат и рабочих. В голове стола сидел Черемисов. Он с неудовольствием выслушал ад'ютанта и что-то сказал ему.

— Хорошо, — сказал возвращаясь ад'ютант, — Главкосев вас примет, на одну минуту.

Меня привели в кабинет главнокомандующего. Минут десять я ожидал, стоя перед громадной картой, на которой цветными полосами было показано, как катился назад наш фронт этим летом. Сдали Ригу [34] ... Отошли к Вендену ... Сдали Эзель [35] ... К весне, кто знает, может быть, немцы уже будут в Петрограде?

Дверь медленно отворилась, и в кабинет вошел Черемисов. Лицо у него было серое от утомления. Глаза смотрели тускло и избегали глядеть на меня. Он зевал не то нервною зевотою, не то искусственною, чтобы показать мне, насколько все то, что я говорю ему, пустяки.

— Временное правительство в опасности, — говорил я, — а мы присягали Временному правительству, и наш долг ...

Черемисов посмотрел на меня.

— Временного правительства нет, — устало, но настойчиво, как-будто убеждая меня, сказал он.

— Как нет? — воскликнул я.

Черемисов молчал. Наконец, тихо и устало сказал:

— Я вам приказываю выгружать ваши эшелоны и оставаться в Острове.

— Этого вам достаточно. Все равно, вы ничего не можете сделать.

— Дайте мне письменное приказание, — сказал я.

Черемисов с сожалением посмотрел на меня, пожал плечами и, подавая мне руку, сказал:

— Я вам искренно советую оставаться в Острове и ничего не делать. Поверьте, так будет лучше.

И он пошел опять туда — в «совет».

Я вышел на улицу. У автомобиля меня ожидал Попов. Я рассказал ему результат свидания.

— Знаете, — сказал мне Попов, — это дело политическое. Пойдемте к комиссару. Войтинский был все это время порядочным человеком. Его долг нам подать совет. Да без комиссара мы части не повернем. Вон уже 9-й полк волнуется от того, что сидит сутки в вагонах.

Я согласился, и мы поехали в комиссариат.

Войтинского, который жил в комиссариате, не было там. По словам дежурного «товарища», он ушел куда-то на заседание, но должен скоро вернуться.

Мы сели в комнате «товарища» и ждали. Уныло тикали стенные часы, и медленно ползла осенняя ночь. Било три, било половина четвертого. Наконец, около четырех часов Войтинский приехал.

Он обрадовался, увидавши нас. Все лицо его некрасивое, усталое, просияло.

— Вы как нельзя более кстати, — сказал он и начал расспрашивать про обстановку, про настроение частей. — Что говорил Черемисов? — быстро спрашивал он. — А вы как думаете? .. Прямо бог послал вас сюда именно сегодня . . . Мне нужно с вами поговорить наедине Пойдемте ко мне.

Мы пошли по пустым комнатам комиссариата. Кое-где тускло горели лампы. Наконец, в какой-то дальней комнате он остановился, тщательно запер двери и, подойдя ко мне вплотную, таинственным шопотом сказал:

— Вы знаете . . . Он здесь!

Я не понял, о ком он говорил, и спросил:

— Кто он?

— Керенский! . . Никто не знает . . . Он тайно только что приехал из Петрограда . . . Вырвался на автомобиле [36] . . . Идет осада Зимнего дворца . . . Но он спасет . . . Пойдемте к нему . . . Или лучше я скажу вам его адрес . . . Нам неудобно итти вместе . . . Идите . . . Идите к нему. Сейчас

XV.

ЧЕМ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ КЕРЕНСКИЙ.

Месяц лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова. Романтическим средневековьем веяло от крутых стен и узких проулков. Мы шли с Поповым пешком, чтобы не привлекать внимания автомобилем. Шли как заговорщики... Да по существу мы и были заговорщиками — двумя мушкетерами средневекового романа.

Ночь была в той части, когда утомленная она готова уже уступить утру, и когда сон обывателя становится особенно крепким, а грезы фантастическими. И временами, когда я глядел на закрытые ставни, на плотно опущенные занавески, на окна, подернутые каплями росы и сверкающие отражениями высокой луны, мне казалось, что я сплю, и этот город, и то, что было, и то, что есть, не более как кошмарный сон.

Я шел к Керенскому. К тому Керенскому, который...

Я никогда, ни одной минуты не был поклонником Керенского. Я его никогда не видал, очень мало читал его речи, но все мне было в нем противно до гадливого отвращения.

Противна была его самоуверенность и то, что он за все брался и все умел. Когда он был министром юстиции — я молчал. Но, когда Керенский стал военным и морским министром, все возмутилось во мне. «Как, — думал я,—во время войны управлять военным делом берется человек, ничего в нем не понимающий! Военное искусство одно из самых трудных искусств, потому что оно, помимо знаний, требует особого воспитания ума и воли. Если во всяком искусстве диллетантизм не желателен, то в военном искусстве он не допустим.

«Керенский полководец!.. Петр[37], Румянцев[38], Суворов[39], Кутузов[40], Ермолов[41], Скобелев[42]... и Керенский!

«Он разрушил армию, надругался над военной наукою, и за то я презирал и ненавидел его.

«А вот иду я к нему этою лунною волшебною ночью, когда явь кажется грезами, идя как к Верховному главнокомандующему предлагать свою жизнь и жизнь вверенных мне людей в его полное распоряжение?

«Да, иду. Потому что не к Керенскому иду я, а к родине, к великой России, от которой отречься я не могу. И если Россия с Керенским, я пойду с ним. Его буду ненавидеть и проклинать, но служить и умирать пойду за Россию. Она его избрала, она пошла за ним, она не сумела найти вождя способнее, пойду помогать ему, если он за Россию»...

Вот, о чем грезили, о чем переговаривались мы с С. П. Поповым, пока искали квартиру полковника Барановского,

у которого был Керенский. Искали долго. Спросить? — не у кого. Город спит, никого на улицах. Наконец, скорее по догадке, усмотревши в одном доме два освещенных окна во втором этаже, завернули в него и нашли много неспящих людей, суету, суматоху, бестолочь, воспаленные глаза, бледные лица, квартиру, перевернутую кверху дном, и самого Керенского.

XVI.

КЕРЕНСКИЙ.

— Генерал, где ваш корпус? Он идет сюда? Он здесь уже, близко? Я надеялся встретить его под Лугой.

Лицо со следами тяжелых бессонных ночей. Бледное, нездоровое, с больною кожей и опухшими красными глазами. Бритые усы и бритая борода, как у актера. Голова слишком большая по туловищу. Френч, галифе, сапоги с гетрами — все это делало его похожим на штатского, вырядившегося на воскресную прогулку верхом. Смотрит проницательно, прямо в глаза, будто ищет ответа в глубине души, а не в словах: фразы короткие, повелительные. Не сомневается в том, что сказано, то и исполнено. Но чувствуется какой-то нервный надрыв, ненормальность. Несмотря на повелительность тона и умышленную резкость манер, несмотря на это «генерал», которое сыплется в конце каждого вопроса, — ничего величественного. Скорее—больное и жалкое. Как-то на одном любительском спектакле я слышал, как довольно талантливо молодой человек читал стихотворение Апухтина [43] «Сумасшедший». Вот такая же повелительность была и в словах этого плотного среднего роста человека, чуть рыжеватого, одетого в защитное, бегающего по гостиной между столиком с недопитыми чашками кофе, угловатыми диванчиками и пуфами и вдруг останавливающегося против меня и дающего приказание или говорящего фразу, и казалось, что все это закончится безумным смехом, плачем, истерикой и дикими криками: — «все васильки, красные, синие в поле!»...

Я сразу узнал Керенского по тому множеству портретов, которые я видал, по тем фотографиям, которые печатались тогда во всех иллюстрированных журналах.

Не Наполеон, но безусловно позирует на Наполеона. Слушает невнимательно. Будто не верит тому, что ему говорят. Все лицо говорит тогда: знаю я вас — у вас всегда отговорки, но нужно сделать, и вы сделаете.

Я доложил о том, что не только нет корпуса, но нет и дивизии, что части разбросаны по всему северо-западу России

и их раньше необходимо собрать. Двигаться малыми частями — безумие.

— Пустяки! Вся армия стоит за мною против этих негодяев. Я сам поведу ее, и за мною пойдут все. Там никто им не сочувствует. Скажите, что вам надо? N. N., — обратился он к Барановскому *)—запишите, что угодно генералу.

Я стал диктовать Барановскому, где и какие части у меня находятся и как их оттуда вызволить. Он записывал, но записывал невнимательно. Точно мы играли, а не всерьез делали. Я говорил ему что-то, а он делал вид, что записывает.

— Вы получите все ваши части,—сказал Барановский.— Не только Донскую, но и Уссурийскую дивизию. Кроме того, вам будут приданы 37-я пехотная дивизия, 1-ая кавалерийская дивизия и весь XVII армейский корпус, кажется все, кроме разных мелких частей.

— Ну вот, генерал. Довольны? — сказал Керенский.

— Да, — сказал я, — если это все соберется, и если пехота пойдет с нами, Петроград будет занят и освобожден от большевиков.

Слыша о таких значительных силах, я уже не сомневался в успехе. Дело было иное. Можно будет выгрузить казаков в Гатчине и составить из них разведывательный отряд, под прикрытием которого высаживать части XVII корпуса и 37-й дивизии на фронте Тосно — Гатчина и быстро двигаться, охватывая Петроград и отрезая его от Кронштадта и Морского канала. Моя задача сводилась к более простым действиям. Стало легче на душе... Но если бы это было так, разве сидел бы Черемисов теперь с Советом? Разве принял бы он меня известием, что Временного правительства уже нет? Три дивизии пехоты и столько же кавалерии, беспрепятственно идущие среди моря армии, это показывает, что армия на стороне Керенского, а если так, бунтовался бы разве гарнизон Петрограда, задерживали бы эшелоны в Острове? Нет, тут что-то было не так. Сомнение закрадывалось в душу, и я высказал его Керенскому.

Мне показалось, что он не только не уверен в том, что названные части пойдут по его приказу, но не уверен даже и в том, что Ставка, то-есть генерал Духонин [44], передал приказания. Казалось, что он и Пскова боится. Он как-то вдруг сразу осел, завял, глаза стали тусклыми, движения вялыми.

«Ему надо отдохнуть», — подумал я, и стал прощаться.

— Куда вы, генерал?

— В Остров, двигать то, что я имею, чтобы закрепить за собою Гатчину.

— Отлично. Я поеду с вами.

Он отдал приказание подать свой автомобиль.

---

* Я не помню имени и отчества Барановского.

— Когда мы там будем? — спросил он.

— Если хорошо ехать, через час с четвертью мы будем в Острове.

— Соберите к одиннадцати часам дивизионные и другие комитеты, я хочу переговорить с ними.

«Ах, зачем это!», — подумал я, но ответил согласием. «Кто его знает, может быть у него особенный дар, умение влиять на толпу. Ведь, почему-нибудь приняла же его Россия? Были же ему и овации, и восторженные встречи, и любовь, и поклонение. Пусть казаки увидят его и знают, что *сам Керенский* с ними».

Минут через десять автомобили были готовы, я разыскал свой, и мы поехали. Я, по приказанию Керенского — впереди. Керенский с ад'ютантами сзади. Город все так же крепко спал, и шум двух автомобилей не разбудил его. Мы никого не встретили и благополучно выбрались на Островское шоссе.

XVII.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД.

Бледным утром мы под'ехали к Острову. Верстах в пяти от города я встретил сотни 9-го Донского полка, идущие из города по своим деревням. Я остановил их.

— Куда вы? — спросил я.

— Ночью было передано от вас приказание выгружаться и итти по домам, — отвечал командир сотни.

— Я не отдавал такого приказания. Поворачивайтесь назад, мы сейчас едем в Петроград, с нами едет Керенский.

— Как Керенский? — с удивлением спросил командир сотни.

Казаки, прислушивавшиеся к моим словам, стали передавать один другому: «Керенский здесь, Керенский здесь».

В эту минуту под'ехал и Керенский. Он поздоровался с казаками. Казаки довольно дружно ему ответили. Сомнений не было, и сотни стали заходить плечом к Острову. Мы поехали дальше. Мне негде было устроить Керенского. Моя квартира была разорена, и я поехал с ним в собрание, где предложил ему чай и закусить, а сам пошел отдавать распоряжения.

Мимо меня прошли сотни 9-го полка, лица казаков выражали любопытство.

Весть о том, что Керенский в Острове, сама собою распространилась по городу. Улица перед собранием стала запружаться толпою.

Явились дамы с цветами, явились матросы и солдаты Морского артиллерийского дивизиона, стоявшего по ту сто-

рону реки Великой в предместьи Острова. Я поставил часовых у дверей дома и вызвал в ружье всю Енисейскую сотню, которая стала в длинном коридоре, ведшем к столовой, и никого не пропускала. Наверху собрались комитеты. Как ни следили мы, чтобы не было посторонних, но таковых набралось не мало. Однако, передние ряды были заняты комитетом 1-й Донской казачьей дивизии, бравыми казаками, на лицах которых было только любопытство и никакого озлобления. Совершенно иначе был настроен комитет Уссурийской дивизий и особенно представители Амурского казачьего полка, в котором было много большевиков...

Я пошел доложить Керенскому, что комитеты готовы. Керенский спал, сидя за столом. Лицо его выражало крайнее утомление. При моем входе он сразу проснулся.

— А! Хорошо. Сейчас иду. А потом и поедем, — сказал он.

Я никогда не слыхал Керенского и только слышал восторженные отзывы о его речах и о силе его ораторского таланта. Может быть, потому я слишком много ожидал от него. Может быть, он сильно устал и не приготовился, но его речь, произнесенная перед людьми, которых он хотел вести в Петроград, была во всех отношениях слаба. Это были истерические выкрики отдельных, часто не имеющих связи между собою фраз. Все те же избитые слова, избитые лозунги. «Завоевания революции в опасности». «Русский народ самый свободный народ в мире». «Революция совершилась без крови — безумцы большевики хотят полить ее кровью». «Предательство перед союзниками» и т. д., и т. д.

Донцы слушали внимательно, многие затаив дыхание, восторженно с раскрытыми ртами. Сзади в двух-трех местах раздались крики: — «неправда. Большевики не этого хотят». Кричал злобный круглолицый урядник Амурского полка.

Когда Керенский кончил, раздались довольно жидкие аплодисменты. И сейчас же раздался полный ненависти голос урядника-амурца.

— Мало кровушки нашей солдатской попили. Товарищи! Перед вами новая корниловщина. Помещики и капиталисты ...

— Довольно! .. Будет! .. Остановите его! .. кричали из передних рядов.

— Нет, дайте сказать! .. Товарищи! .. вас обманывают ... Это дело замышляется против народа ..

Я послал вывести оратора и уговорил уйти Керенского. Керенский торопился ехать на станцию, но оттуда передавали, что нет еще вагона.

Толпа у дома, где был Керенский, становилась гуще. Офицеры мне передавали, что настроение ее далеко не друже-

любное, и не советовали отправлять Керенского без конвоя. Я вышел на улицу. Стояли какие-то дамы с цветами.

— Что, скоро выйдет Керенский? — спросили они.

— Ах, я никогда не видала Керенского! Попросите его поговорить с толпой.

— Большевики за дело стоят, — говорили в толпе.

— Солдату что нужно? — мир, а он опять о войне завел шарманку, — говорили солдаты.

— Схватить его и представить Ленину, — вот и все.

— А казаки?

— А казаки ничего не сделают.

Я вызвал со станции конный взвод 9-го Донского полка для конвоирования автомобиля и приказал на станции выставить почетный караул. Около первого часа пополудни мы поехали на станцию.

Почетный караул сделал свое дело. Он был великолепен. Временно командующий полком, войсковой старшина Лаврухин (командир полка, полковник Короченцов заболел дипломатическою болезнью) постарался. Громадная сотня была отлично одета. Шинели сверкали георгиевскими крестами и медалями. На приветствия Керенского она дружно гаркнула: — «здравия желаем, господин Верховный Главнокомандующий», а потом прошла церемониальным маршем, тщательно отбивая шаг. Толпа, стоявшая у вокзала, притихла. Вагон явился, как из-под земли, и комендант станции об'яснял свою медлительность тем, что он хотел подать «для господина Верховного Главнокомандующего салон-вагон» и стеснялся дать этот потрепанный микст.

Мы сели в вагон, я отдал приказание двигать эшелоны. Паровозы свистят, маневрируют. По путям ходят солдаты Островского гарнизона, число их увеличивается, а мы все стоим, нас никуда не прицепляют и никуда не двигают.

Я вышел и пригрозил расправой. Полная угодливость в словах, и никакого исполнения.

Командир Енисейской сотни, есаул Коршунов, начальник моего конвоя, служил когда-то помощником машиниста. Он взялся провести нас, стал на паровоз с двумя казаками и дело пошло.

Все было ясно. Добровольно никто не хотел исполнять приказание Керенского, так как неизвестно, чья возьмет: «примените силу, и у нас явится оправдание, что мы действовали не по своей воле».

Зная настроение Псковского гарнизона и то, что, конечно, из Острова уже дали знать в Псков, что с казаками едет Керенский, я приказал Коршунову вести поезд, нигде не останавливаясь, набрать воды перед Псковом, и Псков-пассажирский и Псков-товарный проскочить полным ходом— и не напрасно.

Наконец, около трех часов пополудни мы тронулись.

На станции Чарской остановка. Начальник военных сообщений генерал Кондратьев ожидал нас, он просил пропустить его к Керенскому. Я присутствовал при разговоре. Керенский накричал на него за промедление с эшелонами. Полная угодливость со стороны Кондратьева.

Керенский продиктовал ему, какие части должны быть направлены в первую очередь, речь шла о целой армии. Кондратьев почтительно кланялся.

Мне и полковнику Попову, бывшему со мной в одном купэ, это показалось хорошей приметой. «Значит, Черемисов пойдет с Керенским» — решили мы.

На станции Псков громадная, в несколько тысяч, толпа солдат. Наполовину вооруженная. При приближении поезда она волнуется, подвигается ближе. Я стою на площадке; у паровоза Коршунов и его лихие енисейцы; поезд ускоряет ход, и станция, забитая серыми шинелями, уплывает за нами.

В вагонах на редких остановках слышны песни. Раздают запоздалый ужин. Пахнет казачьими щами. Слышна предобеденная молитва: «Очи всех на тя, господи, уповаем». Никаких агитаторов. Все идет хорошо.

Со встречным петроградским поездом прибыли офицеры, бывшие в Петрограде. Сотник Карташев подробно докладывал мне о том, как юнкера обороняют Зимний дворец, о настроении гарнизона, колеблющегося, не знающего, на чью сторону стать, держащего нейтралитет. В купэ входит Керенский.

— Доложите мне, поручик, — говорит он, — это очень интересно, — и протягивает руку Карташеву. Тот вытягивается, стоит смирно, и не дает своей руки.

— Поручик, я подаю вам свою руку, — внушительно заявляет Керенский.

— Виноват, господин Верховный Главнокомандующий— отчетливо говорит Карташев, — я не могу подать вам руки. Я — *корниловец!*

Краска заливает лицо Керенского. Он пожимается и выходит из купэ

— Взыщите с этого офицера — на ходу кидает он мне...

Поезд мчится, прорезая мрак холодной, тихой сентябрьской ночи. Проехали, не останавливаясь, Лугу... Приближаемся к Гатчине. Всюду тишина. Смолкли казачьи песни. Но беспрерывное движение поезда вселяет почему-то уверенность в успехе.

Я задремал. Дверь купэ распахнулась. Я открываю глаза. В дверях Керенский и с ним политический комиссар, капитан Кузьмин.

— Генерал, — торжественно говорит мне Керенский. — Я назначаю вас командующим армией, идущей на Петроград; поздравляю вас, генерал! . .

И, переменивши тон, добавляет обыкновенным голосом:

— У вас не найдется полевой книжки? Я напишу сейчас об этом приказ.

Я молча подаю ему свою книжку. Он выходит. Командующий армией, идущей на Петроград! Идет пока, считая синицу в руках,—шесть сотен 9-го полка и четыре сотни 10-го полка. Слабого состава сотни, по 70 человек. Всего 700 всадников — меньше полка нормального штата. А если нам придется спешиться, откинуть одну треть на коноводов — останется боевой силы всего 466 человек — две роты военного времени!!

Командующий армией и две роты!

— Мне смешно . . . Игра в солдатики! Как она соблазнительна с ее пышными титулами и фразами!!!

Бледное утро смотрит в окно. Серый, тоскливый, осенний день. Станционная постройка, выкрашенная красной краской. Мокрая рябина, покрытая гроздьями спелых, хваченных морозом, ягод. Мы стоим в Гатчине-товарной . . .

XVIII.

«ВЗЯТИЕ» ГАТЧИНЫ.

В Гатчине меня ожидало приятное известие. Из Новгорода прибыл эшелон 10-го Донского полка, две сотни и два орудия. Командир эшелона, чудный офицер, есаул Ушаков, пробился силою, несмотря на все препятствия со стороны железнодорожников. Я приказал выгружаться, имея целью захватить Гатчину врасплох. В полутьме раннего утра вышли сотни 9-го и 10-го полков и артиллерия. Я послал разведку в город, а сам с сотнями выдвинулся на Петербургское шоссе. Офицеры, сопровождавшие Керенского, четыре человека, в какой-то придорожной чайной устроили чай для Керенского.

В Гатчине тихо. Гатчина спит. Разведка донесла, что на Балтийской железной дороге выгружается рота, только что прибывшая из Петрограда, и матросы. Посылаю туда сотни, и сам еду с ними. Казаки со всех сторон забегают на станции. Видно, как рота выстраивается на перроне. Кругом ходит публика, железнодорожные служащие. Рота стоит развернутым строем, представляя собою громадную мишень. Я приказываю снять одно орудие с передков и ставлю его на путях. От пушки до роты не более тысячи шагов. Человек восемь казаков Енисейской сотни с тем же молодцом Коршуновым бегут к роте. Короткий разговор, и рота сдает

ружья. Это рота Л.-Гв. Измайловского полка и команда матросов.

Ко мне ведут офицеров. Безусые растерянные мальчики.

— Господа, как вам не стыдно? — говорю я им.

Молчат. Тупо смотрят на меня, сами, видимо, не понимают, что произошло.

— Вы пошли против Временного правительства, — возвышая голос, говорю я. — Вы изменили родине. Я повесить вас должен.

Лица бледнеют.

— Господин генерал,—лепечет один из них,—мы не шли против Временного правительства.

— Куда же вы шли?

— Мы шли . . . Мы шли в Гатчину . . . Охранять Гатчину от . . . от разграбления.

Что я буду делать с пленными? Их 360 человек, а в моих трех сотнях едва наберется 200!

Обезоруживши их, я отпускаю их на все четыре стороны. Мне их некуда девать и некем охранять. Когда еще придет 37-я пехотная и 1-ая кавалерийская дивизия, когда еще подойдут XVII армейский корпус! Да и придут ли?

Какая опасность от этих людей?

— Мы можем ехать обратно? — спрашивают солдаты.

— Поезжайте и скажите вашим товарищам, чтобы они не глупили, — говорю я им.

— Да мы что! Мы ничего! — добродушно заявляют солдаты. — Нам, что прикажут, мы то и делаем.

Ко мне под'езжает казак. Варшавская станция занята казаками. Взята в плен рота и 14 пулеметов. Что прикажете делать с пленными? . .

— Обезоружить и отпустить!

Их некуда было девать и прятать, их нечем было кормить, потому что базы и тыла у нас не было. Отправлять в Лугу? Но — отношение Луги к нам неизвестно. Посылать в Псков?—Но Псков явно враждебен к нам. Оставалось распускать их, надеясь, что они распылятся, разойдутся по своим деревням, на несколько дней станут безопасны. А там подойдет XVII корпус и можно будет их или снова мобилизовать, или, если будет надо, посадить за проволоку.

Ясно было, что Гатчина обороняться не будет. Я еще отдавал на площади перед Балтийской станцией приказания, когда мне доложили, что Керенский уже находится в Гатчинском дворце и требует меня для распоряжений.

Я нашел его в одной из квартир запасной половины. С ним его ад'ютанты — молодые люди, капитан Свистунов, комендант дворца, капитан Кузьмин и какие-то две молодые нарядно одетые, красивые женщины. Они закусывали.

Обстановка была не для серьезного разговора, и я увел Керенского в другую комнату. Он настаивал на немедленном движении дальше. Но с кем? Было у меня три сотни и два орудия. Гатчина спокойна; кто знает, каково будет настроение ее частей, когда они увидят, что мы уйдем и что нас слишком мало. Даже на раз'езды не хватит!

— Но вы сами видите, что сопротивления никакого не будет Петроградский гарнизон на нашей стороне, — сказал Керенский.

Я, однако, отказался итти вразброд. Надо было дождаться подхода остальных эшелонов, хотя бы своих, послать раз'езды к Царскому, Красному и Петергофу и всеми возможными способами выяснить, что делается в Петрограде Оттуда непрерывно прибывали юнкера и офицеры, бежавшие от большевиков, было много частных лиц, которые все допрашивались мною. Моя жена жила в Царском Селе у подруги моего детства, жены артиллерийского генерала, мне удалось связаться с нею городским телефоном и получить сведения о том, что делается в Царском. Все полученные донесения сводились к следующему:

В Царском спокойно. К вечеру с великими трудами удалось собрать две роты, одна пошла в Гатчину, другая к Красному Селу. Шли в беспорядке, вразброд.

В Петрограде идет борьба между большевиками и правительством. На стороне большевиков матросы, которых считают до пяти тысяч, и вооруженные рабочие. На стороне правительства только юнкера. По существу, правительства нет. Оно рассеялось и никаких распоряжений не отдает, но в Городской думе заседает какой-то «Комитет Спасения Родины и Революции» [45], который организует борьбу с большевиками и ведет агитацию в частях Петроградского гарнизона. Солдаты держатся пассивно. Никакого желания выходить из города и воевать. Были случаи, что солдатские патрули обезоруживались женщинами на улице. Преображенский и Волынский полки будто бы решили выступить против большевиков, как только мы пойдем к Петрограду. 1-й, 4-й и 14-й Донские полки собираются выступить к нам навстречу, к Пулково, и итти с нами. Их убеждает сделать это совет союза казачьих войск, который очень энергично работает. Этот совет непрерывно снабжал меня донесениями. От 1-го Донского казачьего полка приехала та же делегация. Я ее принял. Три казака весьма подлого вида. Косятся, выспрашивают, производят впечатление разведчиков наших настроений, а не переговорщиков о совместных действиях. Наш донской комитет, руководимый доблестным и прекрасным офицером, под'есаулом Ажогиным, обрушился на них, говоря им, что они позорят казачье имя, что им нельзя будет вернуться на Дон. Они отмалчивались, но, уходя, заяви-

ли: «Какой же это демократический комитет, когда в него допущены офицеры? . .»

Но были сведения и менее оптимистические. Они говорили, что Петроградский гарнизон ничто — с ним и сами большевики не считаются. Он не выступит ни на чьей стороне и ничего делать не будет. Опора большевиков — матросы и красногвардейцы, то-есть вооруженные рабочие, которых будто бы больше ста тысяч. Рабочие очень воинственно настроены и хорошо организованы. Из Кронштадта в Неву пришла «Аврора» [46] и несколько миноносцев. Большевистские вожди распоряжаются с подавляющей энергией и организуют все новые полки при полном бездействии правительства и властей. Верховский, Полковников и все военное начальство находятся в состоянии растерянности и лавируют так, чтобы сохранить свое положение при всяком правительстве.

Я это видел и в Гатчине. В Гатчине находилась школа прапорщиков. Почти батальон молодых людей отнюдь не большевистского настроения. Но начальство ее выступить с нами отказалось. Самое большее, что они могли взять на себя,—это поставить заставы на дорогах и наблюдать за внутренним порядком в городе. Офицеры авиационной школы все были с нами, но боялись своих солдат и могли только дать два аэроплана, которые полетели в Петроград разбрасывать мои приказы — «Командующего армией, идущей на Петроград» — и воззвания Керенского.

Эшелоны с войсками приходили туго. Пришло еще две сотни 9-го Донского полка и пулеметная команда, полсотни 1-го Амурского полка и совершенно мне ненужный штаб Уссурийской конной дивизии.

— А где нерчинцы? — спросил я генерала Хрещатицкого.

— Главкосев Черемисов оставил их в Пскове для охраны штаба фронта, — отвечал Хрещатицкий.

— Да ведь вы получили категорическое приказание отправить их в Гатчину.

— Главкосев приказал командиру полка, и они высадились, — отвечал начальник дивизии.

В распоряжения Керенского и мои вмешивались сотни лиц. Ставка—Духонин—бездействовала, была парализована. Из Ревеля примчался ко мне офицер и передал мне, что начальник гарнизона отменил погрузку 13-го и 15-го Донских полков «впредь до выяснения обстановки». Ни 37-й пехотной, ни 1-й кавалерийской дивизии, ни частей XVII корпуса не было видно на горизонте. Тщетно справлялся я по всем телеграфам Николаевской дороги. Никаких эшелонов на север не шло. Приморский полк в Витебске отказался исполнить мой приказ.

Таково было отношение *начальства*, — именно начальства, — то-есть Черемисова в Пскове, начальника гарнизона в Ревеле, Духонина в Ставке, командира XVII корпуса и начальников дивизий—37-й пехотной и 1-й кавалерийской— к выступлению большевиков. Никто не пошел против них. Отозвалась только Луга: 1-й осадный полк в составе 800 человек решил итти на помощь Керенскому и погрузился в Луге. Да уже ночью ко мне пришел отличный офицер, капитан Артифексов, которого я знал по службе в 1-м Сибирском полку, командовавший теперь броневым дивизионом в Режице, и обещал прийти ко мне на помощь со своими броневыми машинами.

Раз'езд, шедший на Пулково, встретил застрявший броневик «Непобедимый» и, не долго думая, атаковал его. Команда «Непобедимого» бежала, и он достался нам. В авиационной школе нашлись офицеры-добровольцы, которые взялись исправить броневик и составить его команду. К 11 часам вечера он был доставлен на двор Гатчинского дворца, и офицеры принялись его чинить.

К вечеру 27 октября я имел: 3 сотни 9-го Донского полка, 2 сотни 10-го Донского полка, 1 сотню 13-го Донского полка, 8 пулеметов и 16 конных орудий. То-есть, моих людей едва хватило на прикрытие артиллерии.

Всего казаков у меня было, считая с енисейцами — 480 человек, а при спешивании — 320.

Итти с этими силами на Царское Село, где гарнизон насчитывал 16.000, и далее на Петроград, где было около 200.000, никакая тактика не позволяла: это было бы не безумство храбрых, а просто глупость. Но гражданская война — не война. Ее правила иные, в ней — решительность и натиск все: взял же Коршунов с 8-ю енисейцами в плен полторы роты с пулеметами. Обычаи и настроения Петроградского гарнизона мне были хорошо известны.

Ложатся поздно, долго гуляют по трактирам и кинематографам, зато и утром их не поднимешь. Захват Царского на рассвете, когда силы не видны казался возможным. Занятие Царского и наше приближение к Петрограду должно было повлиять морально на гарнизон, укрепить положение борющихся против большевиков и заставить перейти на нашу сторону гарнизон. «Ведь опять-таки,—подумал я,—идет не *царский генерал* Корнилов, но социалистический вождь — демократ Керенский, вчерашний кумир солдатской толпы, идет за то же Учредительное собрание, о котором так кричали солдаты . . .»

Я собрал комитеты. В этой подлой войне они мне были нужны для того, чтобы и то, что у меня было, не развалилось. Высказал свои соображения. Казаки согласились со мною.

На 2 часа утра 28 октября было назначено выступление.

XIX.

«ВЗЯТИЕ» ЦАРСКОГО СЕЛА.

В 2 часа мне доложили, что отряд готов. На площади перед дворцом в резервной колонне стоял казачий полк, батареи вытянулись по улицам. Я об'ехал ряды. Все было в порядке. Головная сотня по моему приказанию вытянулась вперед, бойко застучали копытами по грязному шоссе лошади дозорных казаков. За второю от головы сотнею потянулись, громыхая, казачьи пушки. Гатчина притаилась. Нигде ни огонька, нигде не светится ни одна щель ставни. Вряд ли спала она в эту тревожную ночь, когда быстро стучали конские копыта по камням и тяжело гремели и звенели пушки.

Было темно. Я попробовал вести отряд переменными аллюрами, но батареи отставали — пришлось итти шагом. Отошли четыре версты, остановились, слезли, подтянули подпруги и пошли дальше. В восьми верстах от Гатчины, — не доходя деревни Романово, остановились. В чем дело?

Впереди застава — рота стрелков. Не пропускает. Что же делает? — Разговаривает.

Прорысил мимо меня дивизионный комитет с под'есаулом Ажогиным. Такая «война» была мне противна, но при малых моих силах приходилось покоряться: она была выгодна для меня.

Разговоры затягиваются, время идет. Близок рассвет. Я командую: — «шагом марш» и еду к заставе. На средине шоссе три офицера-стрелка и несколько солдат.

— Сдавайтесь, господа, — говорю я им ласково.

— Уже сдают винтовки, — говорит мне командир головной сотни.

Мы едем дальше. В предрассветных сумерках видна выстраивающаяся рота без оружия. С поля из наскоро нарытого окопа подходят люди, несут и отдают казакам винтовки. Путь свободен.

— Куда прикажете вести людей? — спрашивает меня офицер-стрелок.

— Оставайтесь в деревне до обеда, отдохните, а после обеда идите домой в Царское Село . . .

Не расстреливать же их поголовно? А другого исхода не было. Или на волю, или перестрелять.

В мутном свете наступающего хорошего солнечного дня показалось Царское Село. Опять остановка. Дорогу преграждает цепь. Солдат много. Не меньше батальона (800 человек). Раздаются редкие выстрелы. Заставы мои прижались за домами деревни Перелесино. Настуѣает психо-

логический момент — от него зависит все дальнейшее. Я приказываю спешить две головные сотни и выехать на позицию трем батареям. Остальным сотням их прикрывать. Сам еду к цепям.

Огонь со стороны стрелков усиливается. Трещит пулемет, но все-таки это не настоящий огонь батальона. Или у них мало патронов, или они не хотят стрелять. Я приказываю энергично наступать, а артиллерии открыть огонь по казармам. Там, подле казарм, живет моя жена — это знают многие казаки и офицеры, бывавшие у нее тогда, когда мы стояли в Царском. Командир батареи деликатно бьет на высоких разрывах. Казармы Царского окутываются дымками шрапнелей. Но цепи не отходят. Итти вперед? Но нас до смешного мало. Продвигаясь вперед, мы попадаем под обстрел с обоих флангов.

Опять выручают енисейцы. Коршунов ведет их — всего 30 человек — в обход.

И цепи стрелков отходят. Мы продвигаемся за Перелесино. Видны в конце шоссе ворота Царскосельского парка. Там все кишит людьми. Весь гарнизон столпился у ворот. Если они откроют дружный огонь по нас, то моих казаков сметет так же, как смела 111 пехотная дивизия моих кубанцев. Но они не стреляют. Похоже, что там митинг. Дивизионный Комитет садится на лошадей и едет вперед. По нем раздается пять-шесть выстрелов. Он, не обращая внимания, едет дальше. Кучка в 9 всадников быстро приближается к толпе. От толпы отделяется несколько человек.

Разговоры...

Октябрьское солнце поднимается на бледном небе. Серебрится роса на рыжей траве и кочках болота, блестят дощатые крыши домов, ярко сверкают купола Софийского собора. День настает, а они все разговаривают. Это надо кончить. Я сажусь на свою громадную лошадь и в сопровождении ад'ютанта, ротмистра Рыкова и двух вестовых, галопом еду туда.

Комитет окружен офицерами-стрелками. Ведут разговоры. Или они стараются выиграть время, ожидая помощи (конечно, моральной—физической силы у них было слишком достаточно) из Петрограда, или сами не знают что делать.

— Господа, — говорю я им. — Не нужно кровопролития. Сдавайте оружие и расходитесь по домам.

Офицеры соглашаются со мною и идут уговаривать стрелков. Но между стрелками раскол. Часть—около полка—густой колонной отделяется вперед и идет к нам, чтобы сдать оружие. Но другая часть бежит в цепь по опушке парка, стараясь обхватить нас. Я и комитет от'езжаем к цепям.

В цепях разговаривает с казаками статный, красивый человек средних лет, с выправкой отличного спортсмена, в полувоенном платье, с амуницией и биноклем. С ним какие-то два молодых человека и офицер-казак.

— Савинков[47], — говорит он мне.

Мы здороваемся. Савинков расспрашивает про обстановку.

— Что вы думаете делать? — спрашивает он меня.

— Итти вперед, — говорю я. Или мы победим, или погибнем; но если пойдем назад, погибнем наверно.

Савинков соглашается со мною. Он говорит мне несколько слов по поводу того, как лестно обо мне и любовно отзывались казаки.

Революционер и царский слуга!

Как все это странно!?

Сзади из Гатчины подходит наш починенный броневик, за ним мчатся автомобили — это Керенский со своими ад'ютантами и какими-то нарядными экспансивными дамами.

— В чем дело, генерал? — отрывисто обращается он ко мне.

— Почему вы мне ни о чем не доносили? Я сидел в Гатчине, ничего не зная.

— Доносить было не о чем, — говорю я. — Все торгуемся.

И я докладываю ему обстановку.

Керенский в сильном нервном возбуждении. Глаза его горят. Дамы в автомобиле, и их вид праздничный, отзывающий пикником, так неуместен здесь, где только что стреляли пушки. Я прошу Керенского уехать в Гатчину.

— Вы думаете, генерал?—щурясь, говорит Керенский. — Напротив, я поеду к ним. Я уговорю их.

Я приказываю Енисейской сотне сесть на лошадей и сопровождать Керенского, еду и сам.

Керенский врезается в толпу колеблющихся солдат, стоящих в двух верстах от Царского Села. Автомобиль останавливается. Керенский становится на сиденье, и я опять слышу проникновенный, истеричный голос. Осенний ветер схватывает слова и несет их в толпу, отрывистые, тусклые, уже никому ненужные, желтые и поблекшие, как осенние листья

— . . . Завоевания революции . . . Удар в спину . . . Немецкие наемники и предатели! . .

Казаки-енисейцы в'езжают в толпу и силой отбирают винтовки. Сзади под'ехал наш грузовик, и гора винтовок растет на нем.

Обезоруженные солдаты сконфуженно идут прямо полем к казармам. Но там, у ворот Царского, настроение иное. Там кто-то распоряжается. Цепи выходят из парка, они учуяли нашу малочисленность и стараются окружить нас.

С моего правого фланга тревожные донесения. На него из Павловска наступают цепи, и оттуда стреляет батарея.

Я прошу Керенского от'ехать назад и вызываю взвод Донской батареи, той самой батареи, которая не раз выручала меня в тяжелые минуты в настоящей войне. Донские пушки становятся на шоссе в какой-нибудь версте от цепей и громадного скопища солдат у ворот Царскосельского парка. Молодцов-артиллеристов можно перестрелять, как куропаток. Я и енисейцы от'езжаем в боковые улички предместия.

Наступает томительная тишина. И вдруг—тах, тах, тах — затрещали ружья по нашему левому флангу.

— Первое!.. — раздалась команда, — пли!

И за первой, почти сливаясь, ударила вторая пушка И затихла. Два белых мячика разрыва отчетливо сверкнули над самыми головами центральной толпы. И будто слизнули они все это море голов и блестящих штыками винтовок. Все стало пусто. Вся эта громадная, многотысячная толпа метнулась в сторону и побежала сломя голову к станции, наваливаясь в вагоны и требуя отправки в Петроград.

Казаки стали входить в Царское.

В сумерках Царское было занято. Солдаты гарнизона, не успевшие убежать по железной дороге, попрятались в казармы, отказываясь выдать оружие, но и не предпринимали ничего враждебного против нас. Казаки почти без сопротивления овладели станцией железной дороги, подошли к Александровской и заняли радиостанцию и телефон.

Победа была за нами, но она с'ела нас без остатка.

XX.

В ЦАРСКОМ СЕЛЕ.

До часа ночи я оставался на окраине Царского Села, устанавливая связь со своим частями. Тактически мне не надо было входить в Царское. Окруженное громадными парками с путанными дорожками, представляющее из себя множество домов, легких для обороны и трудных для атаки, требующее большого гарнизона для наблюдений за порядком — оно было мне не нужно. Но политически нужно было не только войти в него, но и занять дворцы, сесть в них прочно, выкурить оттуда местные силы. Царское занято тогда, когда Керенский будет сидеть во дворце, а я на своей старой штаб-квартире — в служительском доме дворца Марии Павловны; без этого Царское не поверит, что оно взято, а не поверит Царское, не поверит и Петроград. В час ночи я перешел в центр Царского Села, и маленькая горсть казаков, всего две сотни, стала на дворе дворца Марии Павловны.

Надо было отдохнуть, накормить людей и лошадей, обдумать положение.

И опять для того, чтобы продолжить моральную победу, надо было итти, не останавливаясь, буде возможно той же ночью — на Петроград.

Хорошо итти? Но с кем?

За весь день, 28 октября, к нам подошли три сотни 1-го Амурского казачьего полка, но амурцы заявили, что «в братоубийственной войне принимать участия не будут, что они держат нейтралитет», и отказались даже выставить заставы для охраны Царского Села и сменить усталых донцов... Они стали в деревнях, не доходя до Царского Села.

Те люди, которые шли со мною, были сильно утомлены. Они двое суток провели без сна в непрерывном нервном напряжении. Лошади отупели, не имея отдыха. Необходимо было дать передышку. Но мои люди не столько устали физически, сколько истомились в ожидании помощи. Комитеты мне заявили, что казаки до подхода пехоты дальше не пойдут. Надежда на то, что кто-либо подойдет за день, и желание лучше выяснить обстановку заставили меня назначить на 29 октября дневку в Царском Селе.

Офицеры моего отряда — все корниловцы — возмущались поведением Керенского. Он обещал дать помощь, но не только не дает нам посторонних войск, но и не может принудить вернуть корпусу части, входящие в него. Его популярность пала, он ничто в России, и глупо поддерживать его. Вероятно, под влиянием разговоров с офицерами и казаками, которые говорили: — пойдем с кем угодно, но не с Керенским, ко мне зашел Савинков и предложил мне убрать Керенского, арестовать его и самому стать во главе движения.

— С вами и за вами пойдут все, — говорил мне Савинков.

Но я знал, что это было не так. Я был *генерал,* это во-первых. Во-вторых, мое отношение к войне и победе было слишком хорошо известно солдатским массам. Я мог усмирить солдатское море не из Петрограда, а из Ставки, ставши Верховным Главнокомандующим и *отдавши приказ о немедленном перемирии с немцами* на каких угодно условиях. Только такая постановка дела могла привлечь на мою сторону солдатские массы. Но, конечно, на это я не мог пойти. С этим не согласились бы офицеры и лучшая часть общества. А без этого, — без мира — свержение и арест Керенского только сделали бы из него героя и еще более усилили бы разруху.

Была и еще одна деликатная сторона дела. Керенский явился ко мне искать у меня спасения и помощи. Я не от-

казал в ней, я не прогнал его сразу. Он был до некоторой степени гостем у меня, он мне доверился, и арестовать его было бы нечестно, неблагородно, не по-солдатски. Я отверг предложение Савинкова.

Но с известными настроениями казаков все-таки приходилось считаться. 9-й Донской казачий полк волновался. Ко мне явился войсковой старшина Лаврухин, окруженный крайне возбужденными казаками, почти с требованием немедленно удалить Керенского из отряда, потому что казаки ему не верят, считают, что он идет заодно с большевиками и предает нас для того, чтобы уничтожить единственных верных правительству людей, а отчасти мстя за участие в походе с Корниловым. На мое счастие в Царское приехали Станкевич и Войтинский. Я просил их поговорить с казаками и раз'яснить им всю политическую сторону борьбы и необходимость наступления на Петроград во что бы то ни стало, а сам отправился к Керенскому. С большим трудом мне удалось уговорить его переехать в Гатчину, где отношение было лучше, куда прибыл мой штаб корпуса, установил аппарат Юза со Ставкой, и откуда он мог скорее подать нам помощь.

Другой моей заботой было усилить до пределов возможного свой отряд за счет Царскосельского гарнизона. Неужели из 16.000 солдат-стрелков не найдется хотя бы одной тысячи, которая согласилась бы пойти с нами? Я вызвал офицеров к себе. Они все были против большевиков и обещали повлиять на солдат. Начались митинги. Но резолюции были самые неутешительные. Солдаты обещали не вмешиваться в «братоубийственную» войну и держать полный нейтралитет. Я и этому должен был быть рад, по крайней мере, не ударят в спину.

В Царском Селе находилась пулеметная команда 14-го Донского казачьего полка. Я вызвал ее офицеров и комитет. Явились самые настоящие большевики. Злые, упорные, тупые, все ненавидящие. Тщетно и я и чины дивизионного комитета говорили им о любви к Дону, о необходимости согласия всех казаков между собой, о призыве от Совета союза казачьих войск стать на защиту правительства. Напрасно простые казаки комитета, энергично разрушая программу большевистских вождей, говорили: «нам, господа, казакам, с большевиками никак не по пути», — представители 14-го полка уперлись, как бараны, что они заодно с Лениным, что Ленин за мир, и категорически отказались помочь.

Весь день прошел в бесплодных переговорах. Пришли ко мне помогать несколько человек юнкеров из Петрограда, запасная сотня оренбуржцев л.-гв. Сводного казачьего полка, вооруженная одними шашками и предводительствуемая

очень лихим юношей, два орудия запасной конной батареи из Павловска, наполовину без прислуги, отличный блиндированный поезд, да к вечеру я узнал, что три сотни 9-го Донского казачьего полка высадились в Гатчине. Я послал им приказание спешно выступить походом к Царскому Селу.

Итак, к вечеру 29 октября, мои силы были — 9 сотен, или 630 конных казаков, или 420 спешенных, 18 орудий, броневик «Непобедимый» и блиндированный поезд. Если настроение Петроградского гарнизона такое же, как настроение гарнизонов Гатчины и Царского Села, — войти в город будет возможно .. А там? Там это будет уже дело Керенского, Войтинского и Станкевича, дело Комитета Спасения Родины и Революции, дело советов союза казачьих войск, наконец, дело Савинкова и министров организовать гарнизон Петрограда и произвести с помощью его, а не нас, необходимую чистку города и аресты.

Керенский, Савинков и Станкевич настаивали на наступлении. По их сведениям, в Петрограде борьба с большевиками в полном разгаре. Нас ждут, мы должны прийти и спасти жителей города и Россию от большевистского ига... Вечером ко мне явились комитеты 1-ой Донской и Уссурийской дивизий. Под'есаул Ажогин, конфузясь и стесняясь, заявил, что казаки отказываются итти на Петроград одни, без пехоты. Если пехота не приходит, значит она вся против правительства и идет с большевиками. Нам одним все равно ее не победить. Я горячо начал возражать им. Я говорил, что пехота сама не знает, чего она хочет. Заняли же мы без боя Гатчину и Царское? Как можем мы отказываться итти вперед, не зная, что будет? А если правда, что 1-й, 4-й и 14-й Донские полки выйдут нам навстречу, если Преображенцы и Волынцы только и ожидают нас? Мы должны разведать, узнать все и тогда решить. Я сам понимаю, что девятью сотнями нам Петрограда не взять, да если бы и взяли, так не сохранили бы, но к нам примкнут сотни тысяч людей; будет великим позором для наших славных знамен, если мы откажемся даже разведать.

— Вы меня знаете за всю войну, — горячо говорил я казакам.—Разве я водил вас когда-либо очертя голову? Сделаем разведку, произведем усиленную рекогносцировку с боем, а тогда и увидим, кто наш противник. И, если нельзя — то нельзя. Отойдем, будем обороняться и ждать помощи.

— Не придет эта помощь! Все против нас! — с тоскою сказал кто-то из казаков

Но комитет сдался.

— Попробовать надо, — раздавались голоса. — Как же так, без разведки-то никак невозможно. Генерал прав . . .

Разошлись, постановив на том, что мой приказ исполнят точно. Я понимал, что при таком настроении казаков нечего было и думать о серьезном бое, да и мало было нас— и отдал приказ об усиленной рекогносцировке в направлении на Пулково.

Всю ночь казачьи заставы перестреливались с матросами у Александровской станции. Небольшая команда матросов прошла к виадуку, лежащему между Александровской и р. Пудостью, и здесь обстреляла поезд, шедший с осадным полком из Луги. Солдаты осадного полка остановили поезд, частью сдались, частью разбежались, куда глаза глядят, бросивши свои пушки на платформах. Мне стоило большого труда, уже своими казаками, офицерами и юнкерами при помощи броневого поезда довезти эти пушки обратно в Гатчину.

От Артифексова — ничего. Позднее я узнал, что его дивизион отказался грузиться в Режице. Он повел его походом. Но на пути солдаты взбунтовались. Ему пришлось двоих застрелить из револьвера и только этим спастись и бежать от своего дивизиона.

Да . . . Не везло. . .

Рано утром 30-го прорвавшийся из Петрограда гимназист передал мне клочок бумаги, величиной немного более гербовой марки, на котором стоял бланк совета союза казачьих войск и мелко было написано:

«Положение Петрограда ужасно. Режут, избивают юнкеров, которые являются пока единственными защитниками населения. Пехотные полки колеблются и стоят. Казаки ждут, пока пойдут пехотные части. Совет союза требует вашего немедленного движения на Петроград. Ваше промедление грозит полным уничтожением детей-юнкеров. Не забывайте, что ваше желание бескровно захватить власть — фикция, так как здесь будет поголовное истребление юнкеров. Подробности узнаете от посланных» *.

Председатель *А. Михеев.*

Секр. *Соколов.*

Я об'явил эту записку собравшимся казакам и, казалось, поднял в них настроение.

---

* Эта записка совершенно случайно сохранилась у меня в одной из моих записных книжек. Печальный свидетель начала кровавого кошмара.

XXI.

БОЙ ПОД ПУЛКОВОМ.

Свежий осенний день. То солнце, то косой холодный дождь. На западной окраине Царскосельского парка, в виду Алесандровской станции, выстраивается мой отряд. У Александровской идет редкая перестрелка.

Я направляю сотню 13-го полка на шоссе на Красное Село, на дер. Сузи, сотню 9-го полка на Петроградское шоссе на дер. Редкое Кузьмино, полусотню на нижнюю дорогу на Большое Кузьмино в обход Пулково, взвод на Славянку и к Колпину. Ушли... и у меня почти никого не осталось. Ожидаю донесений. Обстановка совсем какого-либо малого маневра под Красным Селом. Даже и разведка накоротке... Не прошло и часа, как я получил известие, что сотни остановились. У Сузи и у Кузьмина началась перестрелка.

Идем на выстрелы. Броневой поезд продвигается по Варшавской ветке к Петрограду.

Я выезжаю в Кузьмино. По Кузьмину уже свищут пули. Приходится слезать и итти пешком. За мной целая свита, чего я так не люблю. Савинков не отстает от меня, как бы рисуясь своим нахождением в цепях. С ним два каких-то штатских, только-что прибывших из Петрограда. Мне называют их. Кажется, господа Гоц [48] и Дан [49]. Мне эти имена ничего не говорят. Я их не знаю, но знаю одно, что им не место в цепях в бою, и я их под разными предлогами удаляю. Помогает мне в этом и все усиливающийся огонь противника. Часто свистящие пули заставляют исчезнуть с поля битвы каких-то гимназистов-велосипедистов, офицера с двумя барышнями, вышедшими из дач посмотреть на бой. Только мужики и бабы с ребятишками все не могут понять, что это не маневры, и никак не уходят. Офицеры прогоняют их.

— Ну, чего гонишь-то? Эка невидаль! Сколько маневров-то тут было. Никогда не гоняли. И царь приезжал и то не гоняли, — ворчат мужики.

Но появляются раненые, и настроение меняется. Редкое Кузьмино пустеет. Посторонних никого. Один Савинков бесстрашно ходит по цепи и смотрит в бинокль на Пулково.

С окраины дер. Редкое Кузьмино, где залегли казаки, позиция противника и вся местность до Петрограда видны отлично. За Редким Кузьминым глубокий овраг, по дну которого в осыпях голубой глины течет река Славянка. Этот овраг отделяет нас от большевиков. За оврагом небольшая деревушка, потом Пулково. Все склоны Пулковской горы

изрыты окопами и черны от красной гвардии. Даже на глаз можно сказать, что там не менее пяти-шести тысяч. Они то рассыпаются в цепи, то сбиваются в кучи. Густые, длинные цепи их спускаются вниз и идут к оврагу. В бинокль видно, что это не солдаты. Цепи двух видов. Одни в черных штатских пальто, идут неровно, то подаются вперед, то бегут назад — это красная гвардия. Другие, одетые в черные, короткие бушлаты, наступают, соблюдая строгое равнение, быстро залегают, применяясь к местности,—это матросы. Красная гвардия в центре, на Пулковой горе, матросы по флангам. Три броневика работают на шоссе. Они снабжены пушками и обстреливают Редкое Кузьмино. Другой артиллерии — *пока* нет.

Моя сила в артиллерии и броневом поезде. Я расставил батареи за Редким Кузьминым — одну батарею вызвал совсем открыто перед Редкое Кузьмино и артиллерийским огнем держу противника в почтительном отдалении. Один из наших снарядов попал подле броневика, и видно, как из него убежала команда, а броневик остался стоять за дер. Сузи. Кто-то, вероятно, начальник и распорядитель боя, носился в автомобиле по шоссе, но и его остановили на шоссе удачным попаданием...

Слева мои пулеметчики перешли в наступление и заставили отойти противника к дер. Сузи. Мне уже было очевидно, что противник решил сопротивляться, что одним огнем артиллерии его не собьешь, а живой силы, чтобы надавить на него, у меня недостаточно, рекогносцировка дала свои результаты, но я не уходил. У меня были другие ожидания. Гром пушек под самым Петроградом, известие, что мы деремся под Пулковом, должны же были как-нибудь повлиять на Петроградский гарнизон и на донские полки, там находящиеся. Если они станут на нашу сторону, если в Петрограде произойдет восстание не одних юнкеров — Пулково будет очищено. Но на это нужно время. Хотя бы до вечера. И до вечера надо драться. Около полудня я получил донесение, что большая колонна *солдат* — тысяч до десяти — движется от Московского шоссе наперерез Варшавской железной дороги, выходя нам в тыл к Большому Кузьмину. Я послал броневой поезд и тридцать конных казаков. После получаса томительного ожидания донесение: колонна — Л.-Гв. Измайловский полк, в полном составе, после первой же шрапнели бежал в беспорядке, один офицер взят в плен.

Офицера привели ко мне. Он показал, что солдаты, услышавши выстрелы под Пулковом, выступили в весьма воинственном настроении. Но по мере того, как подходили ближе к месту боя, настроение падало. Он с комиссаром полка пошли вперед, чтобы подать пример. Когда подошел

поезд, они залегли в канаве. После первого выстрела комиссар выскочил из канавы и побежал к полку, с криком: «Спасайся, кто может». Офицеру показалось совестно лежать в канаве, он пошел к поезду и сдался. Полк разбежался.

Разговоры об этом произвели сильное впечатление на молодого офицера Л.-Гв. Сводного казачьего полка, стоящего, за неимением винтовок у его казаков, в бездействии сзади Александровской. Он прискакал ко мне и просил разрешить ему атаковать деревню Сузи.

— Погодите, сказал я ему. — Еще рано. Вы атакуете вместе со всеми.

Но не понял ли он меня, или уж очень хотелось ему отличиться и потешиться над большевиками, но не прошло и пяти минут, как за домами стали мелькать конные фигуры скачущих казаков. Ко мне подошел полковник Попов и с тревогою спросил:

— Вы приказывали атаковать оренбуржцам?

— Нет, — отвечал я.

— Смотрите, они уже атакуют!

Вернуть было невозможно. Сотня оренбургской молодежи с беззаветной лихостью развернулась в лаву и ринулась на деревню Сузи, занятую матросами.

Мы все вышли из-за домов следить за нею. Казалось, что вот-вот она достигнет своей цели и — кто знает — потрясет противника. Правее Сузи, вне поля атаки, целые толпы черных фигур в беспорядке кинулись бежать. Но это были красногвардейцы. Матросы стойко оставались на местах. Донцы-пулеметчики побежали вперед, чтобы пулеметным огнем помочь атакующей части...

Но казаки наткнулись на болотную канаву. Лошади стали вязнуть, и атака остановилась. Еще секунда напряженного волнения. Видно, как под выстрелами, едва не в упор, падают люди. Командир сотни убит. И сотня, кто верхом, кто, соскочивши с лошади, пешком побежала назад. Освободившиеся от всадников лошади, задравши хвосты метались вдоль фронта и падали, сраженные пулями матросов.

Потери сотни были не так велики, как того можно было ожидать. Убит командир сотни и около 18-ти казаков было ранено, да погибло до 40 лошадей, но морально эта неудачная атака была очень невыгодна для нас. Она показала стойкость матросов. А матросы численно более нежели в 10 раз превосходили нас. Как же было бороться при таких условиях?

Бой стал затихать. Прибывшие из Гатчины две сотни 9-го полка с великой неохотой спешивались и вступали в бой. То та, то другая батарея смолкала. Снаряды были на исходе. Патронов было мало. Я послал за снарядами и

патронами в Царское Село. Но там у артиллерийского склада стояла сильная вооруженная команда, которая сказала, что в виду заявленного нейтралитета она никому снарядов и патронов не даст.

Ко всему этому на Пулковской горе матросы установили морское дальнобойное орудие и начали обстреливать мой тыл, бросая снаряды вдоль шоссе по коноводам. Снаряды долетали и до Царского Села и падали возле Экономического Общества и дворца великой княгини Марии Павловны. Это начало влиять и на Царскосельский гарнизон. Во всех полках собрались митинги.

Царскосельская молодежь, студенты, лицеисты и кадеты, кто верхом, кто на велосипеде, кто на извозчике, все время поддерживали связь со мною, сообщая мне обо всем, что творится у меня в тылу. Они бесстрашно проникали в казармы, присутствовали на митингах, некоторые даже вступали в споры, и поставляли меня в известность о всех резолюциях Царскосельского гарнизона.

Резолюции были одинаковы: — потребовать от казаков прекращения боя с угрозой, что иначе весь гарнизон с оружием в руках выйдет казакам в тыл. Эти резолюции волновали коноводов. Обремененные, кто тремя, кто четырьмя лошадьми, они чувствовали себя под такой угрозой совсем плохо.

Смеркалось. Короткий осенний день сменялся сумерками ненастной ночи. Моросил дождь. Артиллерийский огонь смолкал. Батареи без приказа отходили назад. Матросы, не сдерживаемые артиллерийским огнем, перешли в наступление. С большим искусством они стали накапливаться на обоих флангах; не только Большое Кузьмино было занято ими, но они выходили уже на Варшавскую железную дорогу, на царскую ветку и приближались к станции Царское Село, выходя мне в тыл. Пули прорезывали деревню Редкое Кузьмино с трех сторон. Я приказал отойти за полотно Варшавской дороги. Уходил я последним. У меня болела левая нога, и я, хромая, не мог поспевать за быстро уходящими казаками. Матросы уже входили в Редкое Кузьмино, непрерывно стреляя. Но стреляли они плохо. Казаки, укрываясь за домами, перебегали от дома к дому, я шел с под'есаулом Кульгавовым и ротмистром Рыковым прямо по дороге. Пули свистали близко, но ни одна не попала.

С трудом перелез я через крутую насыпь железной дороги и прошел в одну из ближайших дач, чтобы написать приказ об отходе. В ста шагах вдоль по насыпи лежала редкая казачья цепь. Дальше все Редкое Кузьмино было полно матросами и красногвардейцами. Они подходили уже и к станции Александровской, но из Редкого Кузьмина не выходили. Боялись темноты.

Черная непогодливая ночь наступала

XXII.

ПЕРЕМИРИЕ С БОЛЬШЕВИКАМИ.

В несуразной обстановке дачной гостиной — дачи, спешно покинутой жильцами, при свете кухонной чадной лампочки, которую достали у дворника, я писал приказ «III конному корпусу». «Усиленная рекогносцировка, произведенная сегодня, выяснила то, что . . . для овладения Петроградом считаю наших сил недостаточно . . . Царское Село постепенно окружается матросами и красногвардейцами . . . Необходимость выждать подхода обещанных сил вынуждает меня отойти к Гатчине, где занять оборонительное положение . . . для чего: — головной отряд и т. д.»

К чему я это писал? Разве что для истории. В «обещанные силы» никто не верил. Они были обещаны, и им послано приказание еще 25 октября; прошло пять дней, и никто не подошел. Зрели планы отсидеться в Гатчине за реками Пудостью и Ижорой, укрепить мосты. А там, что бог даст. В крайности, в случае нажима неприятеля, отходить с боем на Дон. Лишь бы люди дрались, не изменили и не предали.

Командиры полков, батарей и сотен собрались получить приказания.

Лица хмурые, недоверчивые, усталые. Чувствуется глубокое разочарование и страшный надрыв. Тяготит и беспокоит вопрос о раненых и убитых. Не бросать же их большевикам. Мы видали сегодня утром трупы солдат осадного полка. Они были раздеты и изуродованы красной гвардией до неузнаваемости.

Глухою ночью, когда зги не было видно, подошли коноводы к опушке парка, цепи незаметно сошли с насыпи и разошлись по лошадям. Я не мог итти и послал за своею лошадью. Долго отыскивали ее, наконец, ее подали. Ничего не видно со света.

— Алпатов, где вы? — окликнул я. Лошадь узнала мой голос и ответила глухим ржанием.

— Я здесь, — отвечал Алпатов.

Я ощупью нашел стремя и сел. Поехал за полками в Царское. На штабной квартире никого. Ожидает последний мой автомобиль. Я послал его за моей женой: ей уже не безопасно было оставаться в Царском. Казармы стрелков ярко освещены, и в окнах толпятся солдаты. Ни выстрелов, ни криков. Нас пятеро конных едет мимо них темными силуэтами, мелькая вдоль парка. «Кто едет?» Молчим. Зловещая тишина провожает нас. В небе не видно звезд. Мелкий надоедливый дождь начинает накрапывать.

За Царским Селом я пошел рысью, нагнал и стал обгонять полки. Шли в порядке. Пулеметчики 9-го полка шли пешком и волокли за собой пулеметы. Коноводы их удрали и не подали им лошадей. Но ругали они коноводов, а со мною разговаривали без озлобления.

Около часа ночи я был в Гатчине. Керенский меня ожидал. Он был растерян.

— Что же делать, генерал? — спросил он меня.

— Будет помощь? — спросил я его.

— Да, конечно. Поляки обещали прислать свой корпус. Наверно будет.

— Если подойдет пехота, то будем и драться и возьмем Петроград. Если никто не придет — ничего не выйдет. Придется уходить.

Отдал распоряжение на все дороги к переправам поставить заставы с артиллерией и глубокою ночью прилег отдохнуть. Не успел я заснуть, как меня разбудили. У меня полковник Марков, командир артиллерийского дивизиона.

— Ваше превосходительство, — взволнованно говорит он, — казаки отказываются итти на заставы и не берут снарядов. Сказали, что по своим больше стрелять не будут.

— Передайте, что я приказываю разобрать снаряды и выполнить мой боевой приказ.

Едва ушел Марков, как явился Лаврухин и заявил, что 9-й Донской полк не взял патронов и не пошел на заставы. Гатчина никем не охраняется.

Накануне вечером пришли две сотни 10-го Донского полка из Острова. Я направил их на заставы и ожидал установки с ними связи. Рано утром поехал их проверить. В Гатчине спокойно, но как-то сумрачно. Донцы 10-го полка устроили окопы, перекопали шоссе, чтобы броневые машины не могли подойти, смотрят на холодные воды реки Пудости и говорят: никогда красногвардеец в брод не пойдет, а тут удержим.

На душе стало немного спокойнее. Поехал назад уговаривать артиллерию. На дворцовом дворе, где стояли казаки, нашел толпы казаков и среди них матросов. Это прибыли переговорщики. Они вели переговоры не от себя, а от таинственного союза железнодорожников «Викжеля»[50]. «Викжель» уговаривал прекратить братоубийственную войну и сговориться миром. Он угрожал в противном случае железнодорожной забастовкой. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения казаков. Идея мира на внутреннем фронте казалась им не менее заманчивой, нежели идея мира на внешнем. Все, даже самые солидные казаки, носились с этой идеею и находили ее прекрасной. Я вызвал комитеты. Говорят одно, но думают другое.

«Никогда донские казаки не подпадут под власть Ленина и Бронштейна»... «Этому не бывать». «Нам с большевиками не по пути!»

И рядом с этим: «отчего не вступить в мирные переговоры; может быть, до чего-нибудь договоримся. Что же, разве большевики не люди?» «Они драться не хотят». «Это дело Керенского». «Он заварил кашу, он пускай ее расхлебывает». «Время протянется, может быть, к нам и подойдет кто. Тогда со свежими силами можно и снова войну начать». «Все одно нам, одним казакам, против всей России не устоять. Если вся Россия с ними — что же будем делать?»

Тщетно я, Ажогин и фельдшер Ярцев, — лихой казак, перевязывавший мне рану, когда меня ранили в 1915 году в бою под Незвинской, уговаривали и доказывали, что с большевиками мира быть не может, — у казаков крепко засела мысль не только мира с ними, но и через посредство большевиков отправления домой на Дон, и с этим уже не было никакой силы бороться. В конце переговоров ко мне пришел ад'ютант Керенского, он просил меня, председателя комитета и начальника штаба прийти к нему на совещание.

В дворцовой гостиной запасной половины Керенский нас ожидал. Он получил телеграмму от Викжеля, повидимому, с ультимативными требованиями сговориться с большевиками. С ним был капитан Кузьмин и Ананьев, член совета союза казачьих войск; он послал за Савинковым и Станкевичем.

Разговор шел о высшей политике. Возможно или невозможно примирение с большевиками? Керенский стоял на том, что если хотя один большевик войдет в правительство, то все пропало, работа станет невозможна; Станкевич полагал, что с большевиками сговориться все-таки можно, допуск их к власти и сознание ответственности за эту власть их должны отрезвить; Савинков настаивал на продолжении военных действий, говорил, что надо отстояться в Гатчине, что он сам сейчас поедет к командиру польского корпуса Довбор-Мусницкому, который готов драться, Войтинский поедет в Псков и Ставку, а раз явится сила, то можно будет сломить большевиков.

Я, начальник штаба, полковник Попов, и под'есаул Ажогин молчали. Образование нового министерства с большевиками, или без них — это дело правительства, а не войска, и нас не касалось.

На вопрос, поставленный мне Станкевичем, можем ли мы продержаться несколько дней в Гатчине, я ответил, оценивая позицию у Пудости и Таиц и боеспособность красной гвардии: да, можем, но, оценивая моральное состояние казаков, отказавшихся брать снаряды и патроны и воевать: —

конечно, нет. Перемирие нам необходимо, чтобы выиграть время, если за это время к нам подойдет хотя один батальон свежих войск, мы продержимся с боем.

Решено было войти в переговоры о перемирии с «Викжелем». Против этого был только Савинков. Станкевич должен был поехать в Петроград искать там соглашения, или помощи, Савинков ехал за поляками, а Войтинский в Ставку просить ударные батальоны.

Но пока шло совещание начальства, другое совещание шло у комитетов. Прибывшие матросы-парламентеры, безбожно льстя казакам и суля им немедленную отправку специальными поездами прямо на Дон, заявили, что они заключать мир с генералами не согласны, а они желают заключить мир через головы генералов с подлинной демократией, с самими казаками.

Казаки явились ко мне. Они просили меня составить им текст договора, который они будут отстаивать от своего имени, как бы игнорируя меня.

Я составил текст такого содержания:

Большевики прекращают всякий бой в Петрограде и дают полную амнистию всем офицерам и юнкерам, боровшимся против них.

Они отводят свои войска к Четырем рукавам. Лигово и Пулково нейтральны. Наша кавалерия занимает исключительно в видах охраны Царское Село, Павловск и Петергоф.

Ни та, ни другая сторона до окончания переговоров между правительствами не перейдет указанной линии. В случае разрыва переговоров о переходе линии надо предупредить за 24 часа.

С такими мирными предложениями наши представители казаки отправились уже поздно вечером 31 октября к большевикам.

Керенский выработал свой текст, мне неизвестный, и с этим текстом на большевистский фронт поехал на автомобиле капитан Кузьмин. Казаки вздохнули свободно. Они верили в возможность мира с большевиками.

Совсем иначе чувствовали себя я и офицеры. Только борьба и победа могли сломить большевиков.

Вечером из Ставки в Гатчину прибыл французский генерал Ниссель. Он долго говорил с Керенским, потом пригласил меня, я сказал Нисселю, что считаю положение безнадежным. Если бы можно было дать хоть один батальон иностранных войск, то с этим батальоном можно было бы заставить Царскосельский и Петроградский гарнизоны повиноваться правительству силой. Ниссель выслушал меня, ничего не сказал и поспешно уехал.

Ночью пришли тревожные телеграммы из Москвы и Смоленска. Там шли кровавые бои и резня офицеров и юнкеров. Ни один солдат не встал за Временное правительство. Мы были одиноки и преданы всеми.

XXIII.

БЕГСТВО КЕРЕНСКОГО. В ПЛЕНУ У БОЛЬШЕВИКОВ.

Я не хочу испытывать терпение читателя и потому не передал многих мелких подробностей. Эти дни были сплошным горением нервной силы. Ночь сливалась с днем, и день сменял ночь не только без отдыха, но даже без еды, потому что некогда было есть. Разговоры с Керенским, совещания с комитетами, разговоры с офицерами воздухоплавательной школы, разговоры с солдатами этой школы, разговоры с юнкерами школы прапорщиков, чинами городского управления, городской думы, писание прокламаций, воззваний, приказов и пр., и пр. Все волнуются, все требуют сказать, что будет, и имеют право волноваться, потому что вопрос идет о жизни и смерти. Все ищут совета и указаний, а что посоветуешь, когда кругом стала непроглядная осенняя ночь, кругом режут, бьют, расстреливают и вопиют дикими голосами: «га! мало кровушки нашей попили!».

Инстинктивно все сжалось во дворце. Офицеры сбились в одну комнату, спали на полу, не раздеваясь, казаки, не расставаясь с ружьями, лежали в коридорах. И уже не верили друг другу. Казаки караулили офицеров, потому что, и не веря им, все-таки в них видели свое спасение, офицеры надеялись на меня и не верили и ненавидели Керенского.

Утром 1 ноября вернулись переговорщики и с ними толпа матросов. Наше перемирие было принято, подписано представителем матросов Дыбенко [51], который и сам пожаловал к нам. Громадного роста, красавец мужчина с вьющимися черными кудрями, черными усами и юной бородкой, с большими томными глазами, белолицый, румяный, заразительно веселый, сверкающий белыми зубами, с готовой шуткой на смеющихся губах, физически силач, позирующий на благородство, — он очаровал в несколько часов не только казаков, но и многих офицеров.

— Давайте нам Керенского, а мы вам Ленина предоставим, хотите ухо на ухо променяем! — говорил он, смеясь.

Казаки верили ему. Они пришли ко мне и сказали, что требуют обмена Керенского на Ленина, которого они тут же у дворца повесят.

— Пускай доставят сюда Ленина, тогда и будем говорить, — сказал я казакам и выгнал их от себя. Но около полудня за мной прислал Керенский. Он слыхал об этих

разговорах и волновался. Он просил, чтобы казачий караул у его дверей был заменен караулом от юнкеров.

— Ваши казаки предадут меня, — с огорчением сказал Керенский.

— Раньше они предадут меня, — сказал я и приказал снять казачьи посты от дверей квартиры Керенского.

Что-то гнусное творилось кругом. Пахло гадким предательством. Большевистская зараза только что тронула казаков, как уже были утеряны ими все понятия права и чести.

В три часа дня ко мне ворвался комитет 9-го Донского полка с войсковым старшиною Лаврухиным. Казаки истерично требовали немедленной выдачи Керенского, которого они сами под своей охраной отведут в Смольный.

— Ничего ему не будет. Мы волоса на его голове не позволим тронуть.

Очевидно, это было требование большевиков.

— Как вам не стыдно, станичники! — сказал я. — Много преступлений вы уже взяли на свою совесть, но предателями казаки никогда не были. Вспомните, как ваши деды отвечали царям московским:

— С Дона выдачи нет!.. Кто бы ни был он — судить его будет наш русский суд, а не большевики...

— Он сам большевик.

— Это его дело. Но предавать человека, доверившегося нам, неблагородно, и вы этого не сделаете.

— Мы поставим свой караул к нему, чтобы он не убежал. Мы выберем верных людей, которым мы доверяем, — кричали казаки.

— Хорошо, ставьте, — сказал я.

Когда они вышли, я прошел к Керенскому. Я застал его смертельно бледным, в дальней комнате его квартиры. Я рассказал ему, что настало время, когда ему надо уйти. Двор был полон матросами и казаками, но дворец имел и другие выходы. Я указал на то, что часовые стоят только у парадного входа.

— Как ни велика вина ваша перед Россией, — сказал я, — я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь.

Выйдя от Керенского, я через надежных казаков устроил так, что караул долго не могли собрать. Когда он явился и пошел осматривать помещение, Керенского не было. Он бежал.

Казаки кинулись ко мне. Они были страшно возбуждены против меня. Раздавались голоса о моем аресте, о том, что я предал их, давши возможность бежать Керенскому.

Но тут произошло новое событие, которое совершенно все перевернуло. К Гатчинскому дворцу в стройном порядке,

сверкая штыками, подходила густая колонна солдат. Она тянулась далеко по дороге, идущей к Петрограду. Люди были отлично одеты; на всех взводах, сверкая погонами, шли офицеры. Это шел Л.-Гв. Финляндский полк. Он стал выстраиваться в резервную колонну против дворца. Казаки оставили меня и разбежались куда попало. Я остался один. Офицеры штаба находились все вместе в соседней комнате.

В мою комнату вошло человек двадцать вооруженных финляндцев.

— Господин генерал, — сказал мне один из них. — Финляндский полк требует, чтобы вы вышли к нему на площадь.

— Как смеете вы! — закричал я, что было силы, на них, — требовать меня, корпусного командира! Вон отсюда, чтобы и духа вашего не было.

И к моему удивлению солдаты стали пятиться и, толкая друг друга, выбежали из моей комнаты. Прошло минут десять в грозной томительной тишине. В мою комнату постучали.

— Можно войти? — послышался голос.

— Войдите, — отвечал я, готовый на все.

Вошел элегантно одетый капитан Финляндского полка, видимо кадровый офицер.

— Господин генерал, — сказал он, — честь имею представиться: командующий Л.-Гв. Финляндским полком. Я должен извиниться перед вами. Мои люди без меня позволили себе самочинно ворваться к вам. Где разрешите стать полку на ночлег? Люди сильно устали. Они походом шли из Петрограда.

«Что сей сон обозначает, — подумал я, — уж не помощь ли это пришла к нам?»

— Становитесь в Кирасирских казармах, — любезно сказал я.

— Слушаю. Будет исполнено.

Повернулся кругом и вышел.

Я пошел взглянуть, что происходит. Неужели действительно помощь? Но за финляндцами шли матросы, за матросами красная гвардия. В окна сколько было видно, все было черно от черных шинелей матросов и пальто красной гвардии. Тысяч двадцать народа заполнило Гатчину, и в их темной массе совершенно растворились казаки.

Таково было большевистское перемирие.

И вот в эту-то пору ко мне пришел Лаврухин и сказал, что 9-й полк просит меня выйти и об'яснить ему, как бежал Керенский.

Я пошел. Казаки 9-го полка были построены в резервную колонну при винтовках, пешком. Их окружала густая толпа солдат, матросов, красногвардейцев и любопытных жителей Гатчины. Я протолкался через них и, подходя

к полку, обычным голосом крикнул, как кричал им и в 1914 и 1915 годах на полях настоящей войны.

— Здорово, молодцы станичники!

Привычка взяла свое.

Громовой ответ—«здравия желаем, господин генерал»— раздался из рядов полка.

Положение было спасено.

Я глубоко вошел в ряды полка, стал среди казаков.

— Да, — сказал я, — Керенский бежал. И это к нашему счастью. Как охраняли бы мы его теперь, когда мы окружены врагами?

— Мы бы его выдали, — глухо пронеслось по рядам.

— А Ленина вы получили? Вы бы выдали его, чтобы позором покрыть свое имя, чтобы про вас говорили, что вы предатели. Хорошо? А?

Казаки молчали.

— Я знаю, что я делаю. Я вас привел сюда, и я вас отсюда выведу. Поняли это? Верьте мне, и вы не погибнете, а будете на Дону.

И я спокойно, в гробовой тишине притихшего полка, вышел из его рядов. Когда я проходил через толпу, я слышал как там говорили: «Керенский бежал». И одни говорили это со вздохом радости, другие со вздохом разочарования.

XXIV.

КОШМАР.

Во дворце творилось чорт знает что. Матросы, красногвардейцы и солдаты шатались по комнатам, тащили ковры, подушки, матрацы. Казаки сбились в кучу в коридоре и притихли, за ними в двух комнатах были офицеры. Начальник Уссурийской дивизии под суматоху сел на лошадь и со штабом и комитетом уехал из Гатчины.

Уже в сумерках ко мне вбежал какой-то штатский с жидкой бородкой и типичным еврейским лицом. За ним неотступно следовал маленький казак 10-го Донского полка с винтовкой, больше его роста, в руках и один из ад'ютантов Керенского.

— Генерал, — сказал, останавливаясь против стола, за которым я сидел, штатский, — прикажите этому казаку отстать от нас.

— А вы кто такие? — спросил я.

Штатский стал в картинную позу и гордо кинул мне:

— Я — Троцкий.

Я внимательно посмотрел на него.

— Ну же! Генерал! — крикнул он мне. — Я — Троцкий.

— То-есть Бронштейн, — сказал я. — В чем дело?

— Ваше превосходительство, — закричал маленький казак, — да как же это можно? Я поставлен стеречь господина офицера, чтобы он не убег, вдруг приходит этот еврейчик и говрит ему: «Я—Троцкий, идите за мной». Офицер пошел. Я часовой, я за ним. Я его не отпущу без разводящего.

— Ах, как это глупо, — морщась, сказал Троцкий, и вышел, сопровождаемый ад'ютантом Керенского и уцепившимся в его рукав маленьким, но бойким казачишкой.

— Какая великолепная сцена для моего будущего романа, — сказал я толпившимся у дверей офицерам.

Но было не до романа. Было ясно, что перемирие полетело к чорту, и все погибло. Мы в плену у большевиков. Однако, эксцессов почти не было. Кое-где матросы задевали офицеров, но сейчас же являлся Дыбенко или юный и юркий Рошаль [52] и разгонял матросов.

— Товарищи! — говорил Рошаль офицерам, — с ними надо умеючи. В морду их! В морду!

И он тыкал в морды улыбающимся красногвардейцам.

Я присматривался к этим новым войскам. Дикою разбойничьею вольницею, смешанною с современною разнузданною хулиганщиною несло от них. Шарят повсюду, крадут что попало. У одного из наших штабных офицеров украли револьвер, у другого сумку, но если их поймают с поличным, то отдают и смеются: «Товарищ, не клади плохо. Я отдал, а другой не отдаст». Разоружили одну сотню 10-го Донского казачьего полка, я пошел с комитетом об'ясняться с Дыбенко. Как же это, мол, так — по перемирию оружие остается у нас, — оружие вернули, но не преминули слизнуть какое-то тряпье. Шутки грубые, голоса хриплые. То и дело в комнату, где ютились офицеры, заглядывали вооруженные матросы.

— А, буржуи, — говорили они, — ну, погодите, скоро мы всех вас передушим.

И это уже не шутка, это действительная угроза. Офицеры III Конного корпуса входили на ту Голгофу страданий, которую пройти пришлось всему офицерству и которая еще не кончилась и теперь.

Несмотря на позднее время, всюду во дворце по коридорам и комнатам, по дворам и на улице, при свете ламп и фонарей, споры и митинги. Матросы ругают Керенского, но и Ленина не хвалят.

— Нам что Ленин! Окажется Ленин плох, и его вздернем. Ленин нам не указ.

Чувствуется полное безвластие наверху. Сейчас вожди Дыбенко, Рошаль и другие. За ними пока пустое место. Возьмет власть тот, кто даст мир этому народу и разгонит его по домам, и тогда уже будет создавать новую силу, более послушную и менее мятежную.

Около часа ночи меня позвали обедать. За всеми этими событиями мы еще ничего не ели.

Обед приходил к концу, когда в коридоре послышался шум. Быстро приближалась к нам толпа, грозно стуча сапогами и винтовками. Громадные двери распахнулись на обе половинки, и в комнату ворвалось, наполняя ее, несколько солдат, и во главе их высокий худощавый офицер с полковничьими погонами. Он направился ко мне и, протягивая властным жестом руку и становясь в величественную театральную позу, воскликнул:

— Генерал, я вас арестую! — он сделал паузу, обвел рукою кругом и добавил: — и со всем вашим штабом!

— Кто вы такой? — спросил я.

— Полковник Муравьев! [53] — торжественно заявил офицер. — Вы мой трофей!..

В комнате стало тихо. Театральность обстановки повлияла на офицеров. Но вдруг к самому носу полковника Муравьева протолкался бледный, исхудалый, измученный под'есаул Ажогин и за ним, как два его постоянных ассистента, сотник Коротков и фельдшер Ярцев.

— Я требую, полковник, — кричал маленький Ажогин,— чтобы вы немедленно извинились перед генералом и нами в том, что вы вошли сюда, не спросивши разрешения.

Муравьев презрительно скосил глаза.

— П-п-аззвольте! Пажжалуйста! Как вы, обер-офицер, говорите с полковником, — начальственным тоном заявил Муравьев. — Вы з-заб-забываетесь!

— Я и не знал, что в демократической армии существует чинопочитание! — с иронией воскликнул Ажогин. — Кроме того, я председатель дивизионного комитета, выборный от пяти тысяч казаков и не мне с вами, а вам со мною надо считаться.

Муравьев опешил от такого стремительного натиска. А Ажогин так и сыпал. Хороша, мол, честность большевиков, хорошо их слово! Дыбенко клянется и божится, что никто и тронуть не смеет, а уже начинаются аресты.

— Я ничего не знал, — сказал Муравьев.

— Да где вы были тогда, когда мы переговаривались?

— Я был в поле...

— Пока вы были в поле и ничего не делали, все было сделано без вас.

Начался длинный, бурный спор, потом помирились. Муравьев заявил, что он извиняется перед нами, и сел за стол, а с ним и его свита. Вдруг вспомнили, что где-то видались на войне, были вместе, и перед нами, вместо грозного вождя большевиков, оказался добрый малый, армейский забулдыга-полковник, и офицеры стали говорить с ним о подробностях боя под Пулковым и о потерях сторон. Мы скрыли свои

потери. У нас было 3 убитых и 28 раненых, большевики, по словам Муравьева, потеряли больше 400 человек.

Спор о моем аресте был исчерпан, но множество вопросов было еще не решено, и ко мне в комнату пришел Дыбенко и подпоручик одного из гвардейских полков Тарасов-Родионов, человек лет тридцати, с университетским значком.

— Генерал, — сказал Тарасов, — мы просим вас завтра поехать со мною в Смольный для переговоров. Надо решить, что делать с казаками.

— Это скрытый арест? — спросил я.

— Даю вам честное слово, что нет, — сказал Тарасов.

— Я ручаюсь вам, генерал, — сказал Дыбенко, — что вас никто не тронет. В 10 часов вы будете в Смольном, а в 11 мы вернем вас обратно.

— Вы понимаете, — сказал Тарасов-Родионов, — или нам придется арестовать и разоружить ваш отряд, или взять вас для переговоров.

— Хорошо, я поеду, — сказал я.

— Я поеду с вами, — решительно заявил и. д. начальника штаба полковник С. П. Попов.

Когда офицеры штаба узнали, что я еду в Смольный, они стали настаивать, чтобы я взял с собой и их. Особенно домогались мои ад'ютанты, под'есаул Кульгавов и ротмистр Рыков, но я попросил поехать с собою только сына подруги моего детства — Гришу Чеботарева, который знал, где находится моя жена, и должен был уведомить ее, если бы что-либо случилось...

До утра во дворце продолжался шум и гам. То арестовывали, то освобождали офицеров. Матросы явно ухаживали за казаками и льстили им.

— В России, только и есть войско, товарищи, что матросы да казаки — остальное дрянь одна.

— Соединимся, товарищи, вместе—и Россия наша. Пойдем вместе.

— На Ленина! — лукаво подмигивая, говорил казак.

— А хоть бы и на Ленина. Ну его к бесу! На что он нам сдался, шут гороховый...

— Так что же вы, товарищи, воевали? — говорили казаки.

— А вы чего?

И разводили руками. И никто не понимал, из-за чего пролита была кровь и лежали мертвые у готовых могил, офицер оренбуржец и два казака, и страдали по госпиталям раненые.

XXV.

В СМОЛЬНОМ.

Перед рассветом выпал снег и тонкою пеленою покрыл замерзшую грязь дорог, поля и сучья деревьев. Славно пахнуло легким морозом и тихою зимою.

Автомобиль должны были подать к 8-ми часам, но подали еле к 10-ти. Тарасов-Родионов волновался и нервничал. То просил меня выйти, то обождать в коридоре. Рошаль собрал вокруг себя на внутреннем дворцовом дворе всех матросов и, ставши на телегу, что-то говорил им. У дворца громадная толпа солдат и красной гвардии, и это нервит Тарасова, он отдает дрожащим голосом приказания шоферам.

Мы садимся. Впереди Попов и Гриша Чеботарев, сзади я и Тарасов-Родионов. Автомобиль тихо выезжает из дворцовых ворот.

Какой-то громадный солдат в пяти шагах от нас схватывает винтовку на-изготовку и кричит:

— Стрелять этих генералов надо, а не на автомобилях раскатывать!

Тарасов мертвенно бледен. Я спокоен — тот, кто выстрелит, тот не кричит об этом. Этот не выстрелит. Я смотрю в злобные серые глаза солдата и только думаю: «За что? — Он и не знает меня вовсе».

— Скорее! Скорее! — говорит Тарасов шоферам, но те и сами понимают, что зевать нельзя.

Автомобиль поворачивается налево и мчится мимо статуи Павла I, стоящего с тростью и засыпанного белым чистым снегом, мимо обелиска, поворачивает еще раз — мы на шоссе.

В Гатчине людно. Шатаются солдаты и красногвардейцы. У Мозино мы обгоняем роту красной гвардии. Она запрудила все шоссе, автомобиль дает гудки, и красногвардейцы сторонятся, косятся, бросают злобные взгляды, но молчат.

Под Пулковым из какого-то дома по нас стреляли. Одна пуля щелкнула подле автомобиля, другая ударила его в край.

— Скорей! — говорит Тарасов-Родионов.

Третьего дня здесь был бой. По сторонам дороги видны окопы, лежат неубранные трупы лошадей оренбургских казаков, видны воронки от снарядов.

За Пулковым Тарасов-Родионов становится спокойнее. Он начинает мне рассказывать, сколько счастья дадут русскому народу большевики.

— У каждого будет свой угол, свой домик, свой кусок земли. У вас будет покой на старости лет.

— Позвольте, — говорю я, — но ведь вы коммунист, как же это у меня будет свой дом и своя земля? Разве вы признаете собственность?

Молчание.

— Вы меня не так поняли, — наконец говорит Тарасов. — Все это принадлежит государству, но как бы ваше. Не все ли вам равно? Вы живете. Вы наслаждаетесь жизнью, никто у вас не может отнять, но собственность это действительно государственная.

— Значит, будет государство, будет Россия? — спрашиваю я.

— О! да еще и какая сильная. Россия народная, — отвечает восторженно Тарасов-Родионов.

— А как же интернационал? Ведь Россия и русские это только зоологическое понятие.

— Вы меня не так поняли, — говорит Тарасов и умолкает.

Мы в'езжаем в триумфальные ворота. Когда-то их любовно строил народ для своей победоносной гвардии, теперь . . . где эта гвардия?

— Увижу я Ленина? Представят меня перед его светлые очи? — спрашиваю я Тарасова.

— Я думаю, что нет. Он никому не показывается. Он очень занят, — говорит Тарасов.

Знакомые, родные места. Вот Лафонская площадь, вот окна конюшни казачьего отдела, манеж № 1, где я провел столько счастливых часов, служа в постоянном составе школы. Там дальше на Шпалерной моя бывшая квартира. Не нарочно ли судьба дает мне последний раз посмотреть на те места, где я испытал столько счастья и радости . . .

Печальное предчувствие сжимает мое сердце.

Последствие усталости, бессонных ночей, недоедания, слабость? . . Не нужно этого.

У Смольного толпа. Крутится кинематограф, снимая нас. Ну как же! Привезли трофеи победы красной гвардии, — командира III кавалерийского корпуса!!

В Смольном хаос. На каждой площадке лестницы пропускной пост. Столик, барышня, подле два-три лохматых «товарища» и поверка «мандатов». Все вооружено до зубов. Пулеметные ленты сплошь да рядом без патронов крест-накрест перекручены поверх потрепанных пиджаков и пальто, винтовки, которые никто не умеет держать, револьверы, шашки, кинжалы, кухонные ножи.

И несмотря на все это вооружение, толпа довольно мирного характера и множество дам, нет это не дамы, и не барышни, и не женщины, а те «товарищи» в юбках, которые

вдруг, как тараканы из щелей, повылезали в Петрограде и стали липнуть к красной гвардии и большевикам. Претенциозно одетые, с разухабистыми манерами, они так и шныряют вниз и вверх по лестнице.

— Товарищ, ваше удостоверение?

— Член следственной комиссии Тарасов-Родионов, генерал Краснов, его начальник штаба...

— Проходите, товарищ.

— Куда вы, товарищ?

— К товарищу Антонову...

Так с рук на руки нас передавали и вели среди непрерывного движения разных людей вверх и вниз на третий этаж, где, наконец, нас пропустили в комнату, у дверей которой стояло два часовых матроса.

Комната полна народом. Есть и знакомые лица. Капитан Свистунов, комендант Гатчинского дворца, один из ад'ютантов Керенского, а затем различные штатские и военные лица из числа сочувствовавших движению. Настроение разное. Одни бледны, предчувствуя плохой конец, другие взвинченно-веселы, что-то замышляют. Новая власть близка, источник повышений здесь, игра еще не проиграна.

Кто сидит третий день, уже сорганизовался. Оказывается, кормят недурно, дают чай, можно сложиться и купить сахар, тут и лавочка специальная есть в Смольном.

— Но ведь это арест?

— Да, арест, — отвечают мне. — Но будет и хуже. Вчера генерала Карачана, начальника артиллерийского училища, взяли, вывели за Смольный и в переулке застрелили. Как бы и вам того же не было, генерал, — говорит один.

— Ну, зачем так, — говорит другой, — может быть только посадят в Кресты или в Петропавловку.

— В Крестах лучше. Я сидел, — говорит третий.

Внимание, возбужденное нашим приходом, ослабевает. Каждый занят своими делами. Пришла жена одного из арестованных, они садятся в углу и тихо беседуют.

Часы медленно ползут. В два часа принесли обед. Суп с мясом и лапшей, большие куски черного хлеба, чай в кружках.

Рядом комната. Бывшая умывальная институток. В ней тише. Я прошел туда, снял шинель, положил под голову и прилег на асфальтовом полу, чтобы отдохнуть и обдумать свое положение. Более чем очевидно, что Тарасов-Родионов обманул, что меня заманили, и я попал в западню.

В 5 часов я проснулся. Ко мне пришел Тарасов-Родионов и с ним бледный, лохматый матрос.

— Вот, — сказал мне Тарасов, — товарищ с вас снимет допрос.

— Позвольте, — говорю я, — поручик, вы обещали мне, что через час отпустите, а держите меня в этой свинской обстановке целый день. Где же ваше слово?

— Простите, генерал, — ускользая в дверь, проговорил Тарасов. — Но лучшее наше помещение, где есть кровать, занято великим князем Павлом Александровичем; если его сегодня отпустят, мы переведем вас в его комнату. Там будет великолепно...

Матрос, назначенный для следствия, имел усталый и измученный вид. Он дал бумагу, чернила и перо и просил написать, как и по чьему приказу мы выступили и как бежал Керенский.

Вдвоем с Сергеем Петровичем Поповым мы составили безличный отчет и подали матросу.

— Теперь мы свободны? — спросил Попов.

Матрос загадочно посмотрел на нас, ничего не ответил и ушел.

Я долго смотрел, как сгущались сумерки над Невою и загорались огни на набережной и на мосту Петра Великого. Скоро темная ночь стала за окном. В наших двух комнатах тускло горело по одной электрической лампочке. Кто читал, кто щелкал на машинке, учась писать, кто примащивался спать на полу. Кое-кого увели. Увели Свистунова, и пронесся слух, что он получает какое-то крупное назначение у большевиков, увели ад'ютанта Керенского, еще троих выпустили. Всего оставалось человек восемь, не считая нас.

И вдруг в комнату шумно, сопровождаемый Дыбенко, ворвался весь наш комитет 1-й Донской дивизии.

— Ваше превосходительство, — кричал мне Ажогин, — слава богу! Вы живы. Сейчас мы все устроим. Эти канальи хотели разоружить казаков и взять пушки вопреки условию. Мы им покажем! Вы говорите, что это зависит от Крыленко, — обратился Ажогин к Дыбенко, — тащите ко мне этого Крыленко [54]. Я с ним поговорю как следует.

Он горел и кипел благородным негодованием, этот доблестный донской офицер, и его волнением заражались и чины комитета, сотник Карташев, не подавший руки Керенскому, фельдшер Ярцев и тот маленький казачок, что привязался к Троцкому; все они были при шашках, в шинелях, возбужденные быстрой ездой на автомобиле и морозным воздухом, шумные, смелые, давящие большевиков своей инициативой.

Дыбенко был на их стороне. Сам такой же шумный, он, казалось, не прочь был пристать к этой казачьей вольнице, которой на самого Ленина начихать.

Через полчаса меня попросили в другую комнату. Я пошел с Поповым и Чеботаревым. У дверей стояло два мальчика, лет по 12-ти, одетых в матросскую форму, с винтовками.

— Что, видно, у большевиков, солдат не стало, что они детей в матросы записали, — сказал Попов одному из них.

— Мы не дети, — басом ответил матрос и улыбнулся жалкой, бледной улыбкой.

В комнате классной дамы посредине стоял небольшой столик и стул. Я сел за этот стол. Приходили матросы, заглядывали на нас и уходили снова. По коридору так же, как и днем, непрерывно сновали люди. . . .

Наконец, пришел небольшой человек в помятом кителе с прапорщичьими погонами, фигура невзрачная, лицо темное, прокуренное. Мне он почему-то напомнил учителя истории захолустной гимназии. Я сидел, он остановился против меня. В дверях толпилось человек пять солдат в шинелях.

Это и был прапорщик Крыленко.

— *Ваше превосходительство*, — сказал он, — у нас несогласия с вашим комитетом. Мы договорились отпустить казаков на Дон с оружием, но пушки мы должны отобрать. Они нам нужны на фронте, и я прошу вас приказать артиллеристам сдать эти пушки.

— Это невозможно, — сказал я. — Артиллеристы никогда своих пушек не отдадут.

— Но, судите сами, здесь комитет V армии требует эти пушки, — сказал Крыленко. — Каково наше положение? Мы должны исполнить требование Комитета V армии. Товарищи, пожалуйте сюда.

Солдаты, стоявшие у дверей, вошли в комнату, и с ними ворвался комитет 1-й Донской дивизии.

Начался жестокий спор, временами доходивший до ругательств, между казаками и солдатами.

— Живыми пушки не отдадим! — кричали казаки. — Бесчестья не потерпим. Как мы без пушек домой явимся! Да нас отцы не примут, жены смеяться будут!

В конце концов убедили, что пушки останутся за казаками. Комитеты, ругаясь, ушли. Мы остались опять с Крыленко.

— Скажите, ваше превосходительство, — обратился ко мне Крыленко, — вы не имеете сведений о Каледине [55]? Правда, он под Москвой?

«А . . . вот оно что! — подумал я. — Вы еще не сильны. Мы еще не побеждены. Поборемся».

— Не знаю, — сказал я с многозначительным видом. — Каледин мой большой друг . . . Но я не думаю, чтобы у него были причины спешить сюда. Особенно, если вы не тронете и хорошо обойдетесь с казаками.

Я знал, что на Дону Каледин едва держался и по личному опыту знал, что поднять казаков невозможно.

— Имейте в виду, прапорщик, — сказал я, — что вы обещали меня отпустить через час, а держите целые сутки. Это может возмутить казаков.

— Отпустить мы вас не можем, — как бы про себя, сказал Крыленко, — но и держать вас здесь негде. У вас нет кого-либо, у кого вы могли бы поселиться, пока выяснится ваше дело?

— У меня здесь есть квартира на Офицерской улице, — сказал я.

— Хорошо. Мы вас отправим на вашу квартиру, но раньше я поговорю с вашим начальником штаба.

Крыленко ушел с Поповым. Я отправил Чеботарева с автомобилем в Гатчину для того, чтобы моя жена переехала в Петроград. Вскоре вернулся Попов. Он широко улыбался.

— Вы знаете, зачем меня звали? — сказал он.

— Ну? — спросил я.

— Троцкий спрашивал меня, как отнеслись бы вы, если бы правительство, т.-е. большевики, конечно, предложило вам какой-либо высокий пост?

— Ну, и что же вы ответили?

— Я сказал: «Пойдите предлагать сами, генерал вам в морду даст».

Я горячо пожал руку Попову. Милейшая личность был этот Попов. В самые тяжелые, критические минуты он не только не терял присутствия духа, но и не расставался с своим природным юмором. Он весь день нашего заключения в Смольном то издевался над Дыбенко, то изводил Тарасова-Родионова, то критиковал и смеялся над порядками Смольного института. Он и тут остался верен себе. О том, что мы играли нашими головами, мы не думали, мы давно считали, что дело наше кончено и что выйти отсюда, несмотря на все обещания, вряд ли удастся.

— Вы знаете, ваше превосходительство, — сказал мне Попов серьезно, — мне кажется, что дело еще не вполне проиграно. По всему тому, что мне говорил и о чем спрашивал Троцкий, они вас боятся. Они не уверены в победе. Эх! Если бы казаки вели себя иначе...

Нас перевели в прежнее помещение, и о том, чтобы отправлять на квартиру, не было ни слова. Наступила ночь. Заключенные понемногу затихали, устраиваясь спать в самых неудобных позах, кто сидя, кто лежа на полу, кто на стульях, не раздеваясь, как спят на станции железной дороги в ожидании поезда; да каждый из них и ждал чего-то. Ведь они были приведены сюда только для допроса.

Наконец, в 11 часов вечера к нам пришел Тарасов-Родионов.

— Пойдемте, господа, — сказал он.

Часовые хотели было нас задержать, но Тарасов сказал им что-то, и они пропустили.

В Смольном все та же суматоха. Так же одни озабоченно идут наверх, другие вниз, так же все полно вооруженными людьми, стучат приклады, гремит уроненная на каменной лестнице винтовка.

У выхода толпа матросов.

— Куда идете, товарищи?

Тарасов-Родионов начинает об'яснять.

— По приказу Троцкого, — говорит он.

— Плевать нам на Троцкого! Приканчивать надо эту канитель, а не освобождать.

— Товарищи, постойте... Это самосуд.

— Ну да, своим-то судом правильнее и скорее.

Гуще и сильнее разгоралась перебранка между двумя партиями матросов. Об'ектом спора были мы с Поповым. Матросы не хотели выпускать своей добычи. Вдруг чья-то могучая широкая спина заслонила меня, какой-то гигант напер на меня, ловко притиснул к двери, открыл ее, и я, Попов, и великан, красавец в бушлате гвардейского экипажа и в черной фуражке с козырьком и офицерской кокарде, втиснулся с нами в маленькую швейцарскую.

Перед нами красавец-боцман, типичный представитель старого гвардейского экипажа. Такие боцманы были рулевыми на императорских вельботах. Сытый, холеный, могучий и красивый.

— Простите, *ваше превосходительство*, — сказал он, обращаясь ко мне, — но так вам много спокойнее будет. Я не сильно толкнул вас? Ребята ничего. Пошумят и разойдутся без вас. А то, как бы чего нехорошего не вышло. Темного народа много.

И действительно, шум и брань за дверьми стали стихать, наконец, и совсем прекратились.

— Вас куда доставить прикажете? — спросил меня боцман.

Я сказал свой адрес.

— Только, простите, я отправлю вас на автомобиле скорой помощи, так менее приметно. А то, сами понимаете, народ-то какой!.. А людей я вам дам надежных. Ребята славные.

Нас вывели матросы гвардейского экипажа. Долго мы бродили по грязному двору, заставленному автомобилями, слышали выкрики между шоферами, как в старину, только звучали имена другие.

— Товарища Ленина машину подавайте! — кричал кто-то из сырого сумрака.

— Сейчас, — отзывался сиплый голос.

— Товарища Троцкого!

— Есть . . .

В эту грозную эпоху со стоическим хладнокровием несли службу и оставались на своих постах железнодорожники и шоферы . . . Сегодня эшелоны Корнилова, завтра Керенского, потом товарища Крыленко, потом еще чьи-нибудь. Сегодня машина собственного его величества гаража, завтра товарища Керенского, потом Ленина. Лица сменялись с быстротой молнии и plus que ça change, ça reste la même chose.

Громадный автомобиль Красного Креста, в который влезли я, Попов, Тарасов-Родионов и шесть гвардейских матросов, с неистовым шумом сорвался с места и тяжело покатился к воротам. У разведенного костра грелись красногвардейцы. При виде матросов они пропустили автомобиль, не опрашивая и не заглядывая внутрь.

В городе темно. Фонари горят редко, прохожих нигде не видно.

Через четверть часа я был дома. Почти одновременно под'ехала моя жена с Гришей Чеботаревым и командиром Енисейской сотни, есаулом Коршуновым.

XXVI.

В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ. КОНЕЦ III КОННОГО КОРПУСА.

Писать ли дальше? Я жил дома, пользуясь полной свободой. Ко мне приходили гости, жена моя уходила в город и приходила, мы говорили по телефону. В прихожей неотлучно находились два матроса, но это были не часовые, а скорее генеральские ординарцы. Они помогали гостям одеваться. На кухне и черной лестнице не было никого. Я в любую минуту мог переодеться в штатское платье и бежать.

Но, повторяю, бежать я и теперь не хотел, это не в моей натуре, да и глубоко я верил в то, что от своей судьбы не убежишь.

А Донской Комитет, непрерывно сообщаясь со мною и советуясь у меня, делал свое дело. 4 ноября он добился отправки эшелонов в район Великих Лук, куда стягивался весь корпус. 6 ноября комитет явился ко мне с под'есаулом 53-го Донского казачьего полка Петровым, назвавшимся чем-то вроде комиссара нового правительства. Мне показалось, что он играет двойную роль: Хочет служить большевикам и в то же время на всякий случай подслуживается ко мне. Таких людей в ту пору было много. Я решил использовать его. В Кронштадте сидело трое офицеров 13-го Донского казачьего полка, захваченные матросами, когда они ехали ко мне из Ревеля, и есаул Коршунов, арестованный в Петрограде. Я дал задачу Петрову освободить их.

Петров добился их освобождения.

Наконец, вечером 6 ноября, члены комитета, сотник Карташев и подхорунжий Кривцов привезли мне пропуск на выезд из Петрограда. Я не знаю, насколько этот пропуск был настоящий. Мы об этом тогда не говорили, но мне рекомендовали его не очень давать разглядывать. Это был клочек серой бумаги с печатью Военного Исполнительного Комитета С. С. и Р. Д., с подписью товарища Антонова, кажется, того самого матроса, который снимал с меня показание. В сумерки, 7 ноября, я, моя жена, полковник Попов и подхорунжий Кривцов, забравши кое-что из платья и белья, сели на сильную машину штаба корпуса и поехали за город. Мы все были в форме, я с погонами с шифровкой III корпуса, при оружии.

В наступившей темноте мы промчались через заставу, где что-то махал руками растерявшийся красногвардеец, и понеслись, минуя Царское Село, по Новгородскому шоссе. В 10 часов вечера мы были в Новгороде, где остановились для того, чтобы добыть бензин.

А в это время на петроградскую мою квартиру явился от Троцкого наряд Красной гвардии, чтобы окончательно меня арестовать.

На другое утро мы были в Старой Руссе, где, среди толпы солдат, сели на поезд и поехали в Великие Луки.

9 ноября я был в Великих Луках и здесь испытал серьезное огорчение. В Великих Луках стояли эшелоны 10-го Донского казачьего полка, *моего* полка. Казаки этого полка были мною воспитаны, они со мною вместе были в боях, мы жили тесною, дружескою жизнью. Кому-то из моих ад'ютантов пришло в голову, что самое безопасное будет, если я поеду с ними на Дон, и он пошел в полк переговорить об этом.

Казаки отказались взять меня, потому что это было для них *опасно*.

Не то огорчило меня, что они не взяли меня. Я бы все равно не поехал, потому что долг мой перед корпусом не был выполнен, — мне надо было его собрать и отправить к Каледину, — а огорчил мотив отказа — *трусость*.

Яд большевизма вошел в сердца людей моего полка, который я считал лучшим, наиболее мне верным. Чего же я мог ожидать от остальных?

Я поселился в Великих Луках.

Я считался командиром III кавалерийского корпуса, со мною был громадный штаб, и при мне было казначейство с двумя миллионами рублей денег, но все дни мои проходили в разговорах с казаками. Все неудержимо хлынуло на Дон. Не к Каледину, чтобы сражаться против большевиков, отстаивая свободу Дона, а домой, в свои станицы, чтобы

ничего не делать и отдыхать, не чувствуя и не понимая страшного позора нации.

Они готовы были какою угодно ценою ехать по домам. И приходилось часами уговаривать их, чтобы ехали они, хотя бы честно, с оружием и знаменами.

Это было то же дезертирство с фронта, которое охватило пехоту, но пехота бежала беспорядочно, толпами, а это было организованное дезертирство, где люди ехали сотнями, со своими офицерами в полном порядке, но не все ли равно — они ехали домой, ехали с фронта, покидая позиции, они были дезертирами. Я говорил им это, говорил часами. Они слушали меня, убеждались как будто, и после трех-четырехчасовых разговоров наступало молчание, лица становились упрямыми, и кто-нибудь говорил общую всем мысль.

— Когда же, господин генерал, будет нам отправка?

Одна мысль, одна мечта была у них — *домой*. Эти люди были безнадежно потеряны для какой бы то ни было борьбы, на каком бы то ни было фронте. Им нужно было, как Илье Муромцу, коснуться родной земли, чтобы набрать новые силы. Я написал атаману Каледину свои соображения по этому поводу. Я писал ему, что, переживши весь развал армии в строю, непосредственно командуя частями, я пришел к тому заключению, что казаки стали совершенно небоеспособными, что единственное средство вернуть войску силу, это отпустить всех по домам, призвать на их место под знамена молодежь, не бывшую на войне, и начать учить ее по старым методам. Для подготовки же офицеров, которые были далеко не на высоте знаний, создать в Новочеркасске офицерскую школу и расширить училище и корпус; в станицах образовать спортивные общества и кружки.

Ответ от Каледина получился в виде нервно, порывисто написанного на листе почтовой бумаги письма. Каледин соглашался со мною, но писал, что это невозможно, что у него для этого нет власти. Я понял, что он плывет по течению, а течение несло неудержимо к большевикам.

12 ноября 1-я Донская дивизия потекла на Дон и успокоилась, но начала волноваться Уссурийская конная дивизия, требуя отправки ее на Дальний Восток. Это не входило в мои планы. Я хотел ее отправить тоже на Дон, где она могла бы быть полезной. Но комитет дивизии поехал сам в Ставку к Крыленко и добился от него пропуска на Восток.

6 декабря началась отправка эшелонов Уссурийской конной дивизии.

В средине декабря в Великих Луках, переполненных большевистскими пехотными полками, оставался только прикомандированный к корпусу 3-й Уральский казачий полк

и команды штаба корпуса. Уральские казаки одиночным порядком уходили по домам, и полк таял с каждым днем. Моя квартира охранялась только моим денщиком и вестовым, спавшими так крепко, что разбудить их было не легко. Но большевики еще не определили своего отношения к казакам и казачеству. Казаки были как бы государство в государстве, и их пока не трогали, с ними заигрывали. Так, 6 декабря начальник пехотного гарнизона, полковник Патрикеев, отдал приказ о снятии погон и знаков отличий, но сейчас же добавил, что это не касается частей III корпуса, которые, как казачьи, имеют право продолжать носить погоны, так как управляются своими законами. С местным комиссаром Пучковым мы жили дружно. Он, хотя и называл себя большевиком, но оказался ярым монархистом; офицеры штаба корпуса часто бывали у него, дело всегда оканчивалось выпивкой и воспоминаниями отнюдь не большевистского характера. Я решил использовать это выгодное положение и добиться пропуска для штаба корпуса в Пятигорск для расформирования. Моя цель была остановить эшелон в Великокняжеской и передать все имущество корпуса Каледину. Имущество было не малое. Оставалось полмиллиона денег, было более тысячи комплектов прекрасного обмундирования, вагон чая, вагон сахара, несколько автомобилей, аппарат Юза, радиостанция и т. д. Генерала Солнышкина я командировал в Ставку, и он, благодаря личному знакомству с Бонч-Бруевичем, бывшим начальником штаба у Крыленко, и генералом Раттелем, начальником военных сообщений, добился назначения эшелона в Пятигорск и пропусков.

Дело это шло медленно, а положение наше в Великих Луках становилось очень тяжелым. Последние казаки покидали город, мы оставались одни. Носить погоны больше стало немыслимо. Солдаты с ножами охотились за офицерами. Но снимать погоны мы считали для себя оскорбительным, и потому 21 декабря все переоделись в штатское. Однако, это не улучшило положения. Нас знали в лицо и готовились расправиться с нами и особенно со мною. Я каждый день ездил верхом. Раз за мной погнались солдаты с ножами, другой раз в деревне стреляли по мне.

«Может быть,—думал я,—настало время бежать? Но как бежать? За мною следили команды штаба, писаря, мой денщик и вестовой наблюдали за мной. Конечно, я мог выехать на прогулку верхом и не вернуться. Я часто ездил один. Но тогда пришлось бы бросить жену и офицеров штаба, которые так надеялись на меня, что я их выведу».

А между тем, несмотря на все обещания об отправке штаба в Пятигорск, эшелонов нам все не давали. 11 января 1918 года пришло требование сдать все деньги корпусного

казначейства в Великолуцкое уездное казначейство. Деньги сдали, протестовать было бесполезно, да и законного права не было. Корпус был расформирован.

Наконец, 16 января нам дали поезд на Пятигорск. Совершенно благополучно погрузились офицеры и чиновники корпуса, остатки команд, погрузили имущество, автомобили, лошадей, сели и мы. Все шло гладко. Я решил воспользоваться случаем и проехать с женою к ее сестре в Москву с тем, чтобы догнать эшелон в пути.

В Москве я узнал, что атаман Каледин об'явлен большевиками изменником, что где-то у станции Чертково идут бои между большевиками и донскими казаками. С трудом, в товарном вагоне, переполненном солдатами, неистово ругавшими Корнилова, Каледина и два раза помянувшими и меня, я с женою 28 января добрался до Царицына. Надо было искать свой эшелон. Справляться на станции, оцепленной солдатами, матросами и красногвардейцами, было рискованно, и я пошел в город. В гостинице я увидал одного из офицеров штаба, ротмистра фон-Кюгельгена, который сообщил мне, что накануне в Царицыне их эшелон остановили, отобрали все имущество, лошадей, повсюду искали меня. Я приговорен к смертной казни, мои портреты, найденные в вещах моей жены, посланы по всем станциям от Царицына до Пятигорска, чтобы искать меня. По всему городу ходят солдаты и красногвардейцы, разыскивая меня, так как есть сведения, что я в Царицыне.

Настало время бежать.

Ротмистр Кюгельген и ротмистр Щербачев, стоявший здесь же в гостинице, провели меня в номер жены начальника штаба, которая была больна, и у ней я дождался вечера. Тем временем Щербачев изготовил мне документ, что артельщик 44-й пехотной дивизии Семен Никонов командирован для закупки рыбы на юге России. У жены моей был ее настоящий паспорт.

Вечером мы сели с женой на поезд, идущий на Тихорецкую. В маленьком купэ набилось 11 пассажиров. Было темно. Тускло горела свеча в фонаре. Пришел патруль — матрос и два красногвардейца. Я стал в тени и подал свой документ. На мне старое пальто с барашковым воротником и шапка поддельного бобра. Матрос посмотрел мой документ и молча вернул его мне. Документы всех мужчин были проверены. Моя жена документа не дала.

Матрос пошел к выходу.

— А у дамы документа не смотрели, — сказал красногвардеец.

— Мы у дамочек документов не проверяем, — галантно отвечал матрос и вышел из вагона.

Был осмотр вещей. У меня в чемодане лежало военное платье, погоны, послужной список, дневники. Но красногвардейцам надоела проверка, пассажиров было много, начальник станции ворчал, что поезд слишком задерживают, и до нашего вагона осмотр не дошел.

Поздно ночью мы тронулись.

На другое утро мы переехали границу войска Донского. Станция Котельниково. Я спокойно выхожу из вагона. Спасен... Свои!

На дверях дамской комнаты большой плакат: «Канцелярия Котельниковского Совета солдатских, рабочих, крестьянских и казачьих депутатов»...

И тут уже была Советская власть.

Поспешно иду в вагон.

Три казака и солдат останавливают меня у самого вагона.

— Товарищ, вы кто такие будете? — спрашивают они меня.

— А вам какое дело? — кидаю я и сажусь в вагон.

На счастье поезд трогается.

В 5 часов дня в Великокняжеской. Здесь еще держится атаманская власть. Мои дорогие члены Донского Комитета, Ажогин, Карташев, в штабе дивизии. Но уже все кончено. Все казаки штаба разошлись. Офицеры сами чистят лошадей. Дивизии давно нет. Завтра или после завтра здесь будет признана Советская власть. О Каледине ничего не знают. Бои идут под Новочеркасском, но, *кажется*, Новочеркасск еще не занят большевиками.

Все-таки надо ехать туда. Коннозаводчик Михалюков дает мне лошадей, и 30 января под проливным дождем мы едем в открытом шарабане.

Два дня я ехал по родной донской степи. Менял лошадей, обедал и ночевал на зимовниках у коннозаводчиков. Тишина и безмолвие кругом. Поют жаворонки, солнце пригревает, голубое марево играет на горизонте.

На зимовнике Вонифатия Яковлевича Королькова комитет из 2 казаков, 2 солдат и 2 германских военнопленных. Он взял опеку над имением, чтобы «народное хозяйство» не расхищалось. Узнали о моем приезде, пришли ко мне.

— Вы что за человек? — хмуро и сердито спрашивает казак, и вдруг лицо его расплывается в широкую улыбку, — а вы не генерал Краснов будете?

— Если знаете, так чего же спрашиваете? — говорю я.

— А я у вас в дивизии в конно-саперной команде служил. Помните, Акимцев, казак *, — радостно говорит «член комитета». — Вам лошадей! Сейчас подам.

* Если память мне не изменяет в фамилии.

Очевидно, здесь не скроешься. «Попа», как говорит пословица, — «и в рогоже узнаешь».

Через полчаса мне подали четверку в отличной коляске. «Комитет» провожает меня наилучшими пожеланиями.

Ночью 31 января я был на берегу замерзшего Дона в станице Богаевской. Из окон в'езжей избы видны огни Новочеркасска, ярко горят электрические фонари по Крещенскому спуску и у собора. До Новочеркасска 23 версты.

Но лошадей нет. Надо ждать до утра.

На в'езжей, в комнате, где вместо свечей, тускло мигает лампадка, три молодых офицера. Я достаю свечу и зажигаю ее. Один всматривается в меня и вдруг говорит:

— Вы генерал Краснов? ... А меня помните? Мальчиком я у вас в трубаческой команде служил. Помните, когда вы ад'ютантом были?

Где же узнать! Это было 16 лет тому назад, и ему было лет 15.

— Тяжело, ваше превосходительство, на Дону. Третьего дня мы бежали из Нижне-Чирской станицы. Большевики заняли... А вчера, слышно, Каледин застрелился...

— Как застрелился? — говорю я.

— Так точно. Сегодня похоронили...

Я не могу больше говорить. Первый раз нервы изменяют мне. Я выхожу на улицу, и долго мы ходим здесь с женой по узкой тропинке по берегу Дона.

Каледин застрелился! Что там, в Новочеркасске, который так таинственно мигает своими электрическими фонарями, что за широким Доном и займищем, поросшим кустами, на гордом обрыве, где стоит златоглавый собор, и бронзовый Ермак [56] протягивает сибирскую корону московскому царю? Что там, где под скалою, накрытый буркой, спит вечным сном Бакланов? [57].

Ужели Советская власть?

Куда ехать? Где скрыться тому, у кого на каждом хуторе есть сослуживцы, есть друзья и враги?

1 февраля, на тряской телеге, запряженной парой худых лошадей, я в'езжал в Новочеркасск, потому что куда же мне и ехать больше?..

«Архив русской революции»,
изд. И. В. Гессеном,
Берлин 1922 г.

Примечания.

1. Партия к.-д. — конституционно-демократическая партия империалистической российской промышленной буржуазии. Представители к.-д. вели в 1917 г. агитацию за продолжение войны и стремились завязать связи с командным составом армии.

2. Черячукин, А., генерал-майор,—донской генерал. Выступал как дипломатический представитель контр-революционных правительств Дона, в 1918 году от имени генерала Краснова вел переговоры в Киеве с немецким фельдмаршалом Эйхгорном. Его письменные доклады об этих переговорах напечатаны С. Пионтковским в «Сборнике материалов и статей», изданном Главархивом в 1921 г.

3. Михаил Александрович—вел. князь, брат царя Николая II. В его пользу Николай II отрекся от престола. Михаил Александрович отрекся в свою очередь от престола. Отречение было вызвано отсутствием вооруженной силы, на которую можно было бы опереться в деле защиты монархии в февральские дни. Буржуазная пресса и мемуаристы изобразили Мих. Алекс. как человека нерешительного и патриота. На самом деле в февральские дни Михаил Александрович проявил энергичную деятельность, лично наблюдал за организацией обороны монархии в Ленинграде, вел переговоры с Государственной Думой и английским послом. О его деятельности в эти дни смотри Бьюкенена — «Воспоминания дипломата», Родзянко — «Государственная дума и Февральская 1917 года революция», Шульгина—«Дни», Набокова—«Временное правительство», «Падение старого режима», том I, показания Хабалова, том II., показания Беляева.

4. Керенский, Александр Федорович,—адвокат, член IV Гос. Думы, эс.-эр., член всех Временных правительств, министр юстиции, мин. председатель и военный министр и главнокомандующий. Оборонец и соглашатель, Керенский выдвинулся как оратор; как политик он шел в поводу у буржуазии. Он проводил в жизнь неудачное наступление 18 июня, он руководил преследованием большевиков, он организовывал сопротивление Октябрьской революции. Все мемуаристы всех политических течений одинаково отрицательно отзываются о Керенском, как о личности.

5. Приказ № 1 был издан в момент Февральской революции. Целью его было вырвать армию из рук командного состава. Тем, что он дал возможность солдатской массе организоваться и лишил генералитет возможности использовать армию в целях борьбы с революцией, он возбудил дикую ненависть к себе офицерства и буржуазии. Об обстановке создания этого приказа см. Шляпников—«Семнадцатый год», т. I.

6. Одной из целей войны, удовлетворяющей интересы как промышленного капитализма, так и землевладельцев—было захват выхода в Средиземное море в свои руки. Казаки по своему экономическому положению были крепко связаны с интересами внешнего хлебного рынка. Дон и особенно Кубань являлись крупными поставщиками зерна, и для них вопрос о судьбах внешнего хлебного рынка был вопросом понятным и близким.

7. Наступление на русском фронте подготовлялось еще зимой 1916 года. К летней кампании 1917 г. русское военное командование получило опреде-

ленное задание относительно наступления от союзников. Февральская революция поставила вопрос о наступлении перед генералитетом ребром и заставила несколько оттянуть время наступления. «Союзники», в лице своих генералов и послов, неуклонно требовали наступления. Русские оборонцы—социалисты и буржуа, сидящие во Временном правительстве—сами стремились к наступлению, видя в нем не только средство к достижению своих внешних империалистических целей, но и пути к внутреннему своему укреплению—захват армии означал и захват силы. Одни большевики неуклонно вели борьбу против политики затягивания и продолжения войны. К моменту наступления 18-го июня война фактически замирала. Войска как наши, так и немцев вырвались из рук командного состава, и по фронту широкой волной разлилось братание. Наступление 18-го июня возрождало войну. В день наступления ленинградский пролетариат единодушно, массовой демонстрацией, прошедшей под большевистскими знаменами, выразил свой протест и недоверие соглашателям и Врем. правит. О том, как проходило наступление и какое влияние оно имело на армию, см. воспоминания Кальницкаго «От февраля к октябрю». О связи русского командования с «союзниками» см. Шляпников «Семнадцатый год», т. II.

8. Корнилов, Лавр. Григорьевич,—боевой генерал. Во время европейской войны прославился удачным бегством из австрийскаго плена. Был близок к буржуазным кругам и после Февральской революции 2 марта был вызван в Ленинград и назначен командующим округом. На него возлагалась миссия «расчистки» и захвата Ленинграда. Своими мерами возбудил против себя солдат, отказавшихся повиноваться его приказаниям в апрельские дни. 23 апреля 1917 года он подал военному министру заявление об отставке. Был назначен в действующую армию. После июльского выступления в Ленинграде был назначен Керенским главнокомандующим. Стал центром и знаменем всей контр-революции. Об'явил войну солдатским организациям, преследовал большевиков на фронте. Ввел смертную казнь. Требовал милитаризации тыла и установления диктатуры. С ведома Керенского подтягивал войска к Ленинграду для захвата города. С одобрения и при поддержке к.-д. предпринял выступление в конце августа 1917 г. для захвата власти. Оставленный Керенским, не поддержанный в армии никем, кроме генералов, был арестован и посажен в тюрьму, оттуда в октябре бежал на Дон к Каледину. Здесь совместно с ген. Алексеевым организовал Добровольческую Армию, состоящую из помещиков и буржуа. Был убит во время штурма Краснодара. О Корниловском движении см. Владимирова—«Корниловщина», о первых походах Добр. Армии см. воспоминания: Гуля, Суворина, Половцева.

9. Брестский мир—мир с Германией, заключенный Советской властью. Заключение мира имело целью вырвать Россию из войны, так как ресурсов для ведения войны у нее не было. Условия этого мира изобличали империалистическую сущность Германии перед немецкими и русскими рабочими. Краснов заявляет, что мир все равно был бы заключен, так как не было сил вести войну. Политико-стратегическую сторону заключения мира он не уловил. Да и не он один. Непримиримыми противниками Брестского мира были эс-эры и меньшевики, требовавшие продолжения войны в контакте с союзниками. О Брестском мире и борьбе вокруг него см. Каменев—«Борьба за мир», Сорин—«Партия и оппозиция», в. I, Овсянников—«Брестский мир», Материалы экономической комиссии, изданные НКИД, Брестские переговоры, изд. НКИД, Протоколы Седьмого С'езда РКП.

10. Эрдели—генерал, командующий особой армией, сподвижник Корнилова, участник корниловского выступления и корниловского ледяного похода. Командовал частью в армии Деникина.

11. 3—5 июля 1917 г. в Ленинграде произошло стихийное восстание солдат и рабочих, которое шло под лозунгом: «Вся власть Советам». Большевики, считая выступление несвоевременным, стремились превратить его в мирную вооруженную демонстрацию. Демонстрация была рассеяна с помощью юнкеров и вызванных с фронта полков. Эс-эры и меньшевики, державшие в своих руках ЦИК первого созыва, выступили в союзе с буржуазией против пролетариата, против передачи власти Советам. Тем са-

мым они оторвались от пролетариата, сделались врагами пролетариата, выполняя в его рядах роль защитников буржуазии. Буржуазия в дни 3—5 июля переходит в наступлние на рабочий класс и свои первые удары направляет на коммунистов - большевиков. Юнкера громят редакцию «Правды», а Временное правительство ее закрывает. Большевики преследуются, частью переходят на нелегальное положение, часть лидеров подвергается аресту, часть уходит в подполье (т.т Ленин и Зиновьев). О событиях 3—5 июля см. Раскольников—«Кронштадт и Питер в 1917 году». «Пролетарскую революцию», № 5 (17), С. Пионтковский «3—5 июля», «Современник», кн. I. Протоколы Петросовета, изданные Главархивом.

12. Крымов — кавалерийский генерал, близкий к руководящим кругам буржуазии. Накануне февраля выдвигался буржуазией как активный руководитель и участник подготовляемого дворцового переворота. Участник корниловского выступления. Войска его при встрече с войсками Временного правительства и представителями советских организаций отказались поддерживать корниловское движение и перешли на сторону советов. Об этом очень интересные данные имеются в воспоминаниях Вороновича, бывш. работника Лужского Совета, напечатанных в Архиве гражданской войны, том I.

13. Гр. Келлер—кавалерийский генерал, монархист. В 1918 году во время господства на Украине гетмана Скоропадского организовал монархическую добровольческую армию, так называемую южную, в отличие от армии Деникина. Придерживался германской ориентации. Об этом см. воспоминания герцога Лейхтенбергского—«Как началась южная армия». «Архив русской революции», том VIII.

14. Линде, Федор Федорович,—комиссар фронта, с.д.-интернационалист во время войны, оборонец в 17-м году. Подробную его биографию см. 24-ю кн. журнала «Былое». ст. Вл. Канторович—«Федор Линде».

15. Третий конный корпус, согласно переговорам Савинкова с Корниловым от лица Керенского, двигался к Ленинграду. Керенский стремился получить в руки надежную воинскую часть, с помощью которой надеялся разоружить Ленинградский гарнизон. Предлогом для сосредоточения войска было предполагаемое выступление большевиков. Об этом см. книгу Владимировой—«Корниловщина».

16. Начальник штаба и близкий участник и сподвижник Корнилова ген. Лукомский. Эмигрант. Выпустил за границей «Воспоминания» в 2 т. Дает много материала о деле Корнилова.

17. Власов,—полковник, казачий офицер. Активный участник контр-революционного движения на Дону. Был представителем Донского правительства в Крыму. Его донесения из Крыма на Дон напечатаны С. Пионтковским в Журнале Татистпарта. «Пути Революции», кн. I.

18. В момент выступления Корниловым был издан ряд приказов и воззваний. Здесь речь идет о воззвании Корнилова, в котором он извещал о своем выступлении, изданном 2 августа. См. Владимирова —«Корниловщина» и «Хроника революции 1917 года».

19. Комиссар армии. Принимал участие в переговорах Керенского с Корниловым.

20. Гучков, Александр Иванович, — крупный московский промышленник и буржуазный общественный деятель. Председатель 3-й Гос. думы и военный министр I-го Временного правительства. Ярый империалист. Активный участник заговора против Николая Романова, участник Корниловского движения. Связь Крымова с Гучковым указывает на то, что Крымов осуществлял желания буржуазии. Его выдвигала буржуазия для ареста Николая II, через него шла она в первых рядах корниловского наступления на Ленинград.

21. Русско-Японская война 1904—905 г.г. велась в интересах российского самодержавия и французских биржевиков. Кончилась поражением России и уступкой Японии половины Сахалина, Квантунского полуострова и южной Манчжурии. Общий очерк японской войны см. у М. Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке», ч. III, в I. (См. также материалы о Русско-японской войне, изд. Главархива).

22. Станкевич, В. Н.,—комиссар Северного фронта. Умеренный социалист-оборонец и соглашатель. Активный борец с Октябрьской революцией с момента ее совершения и до сих пор. Эмигрант. Выпустил в Берлине интересные воспоминания о революции 1917 года.

23. Войтинский, Владимир Савельевич,—помощник комиссара Северного фронта. Большевик в 1905 году; потом меньшевик-оборонец и соглашатель. Вел активную борьбу с большевиками в 1917 году. В дни 3—5 июля одобрял и руководил кровавым подавлением демонстрации и террором против коммунистов. Эмигрант и враг сов. республики. Выпустил за границей тенденциозные, но интересные воспоминания под заглавием «Годы побед и поражений», пока вышло два тома. Его показания об участии в Красновском наступлении на Ленинград напечатаны в IX книге «Красного Архива».

24. Генерал Алексеев, Михаил Васильевич,—начальник штаба Верховного Главнокомандующего во время империалистической войны. Активный противник революционного-пролетарского движения. Борьбу с революцией за удержание армии в своих руках начал еще в февральские дни. Назначенный Керенским ликвидировать движение Корнилова, вел себя так, что упустил всех сторонников Корнилова и принимал все меры к облегчению Корнилову мятежных действий. После Октября очутился на Дону, где вместе с Корниловым формировал на деньги московской буржуазии и иностранных империалистов добр. армию. В добровольческой армии Алексеев занимался главным образом вопросами снабжения и дипломатическими переговорами. Совершил с Корниловым ледяной поход, после которого в 1918 г. умер от старости в Ростове.

25. Полковник Полковников, П., командующий Ленинградским военным округом в момент Октябрьской революции. Играл двойную роль по отношению к Временному правительству. Крайний правый. О нем и его роли см. Керенский — «Гатчина».

26. Барон Врангель, Петр Николаевич,—кавалерийский генерал, возглавлял последнее контр-революционное правительство, укрепившееся в Крыму. Ставленник Англии. Монархист и реакционер. В настоящее время эмигрант. Литература о врангелевском правительстве довольно богата. См. сборник «Антанта и Врангель», Н. Ковалев—«Южная контр-революция—Врангель», Калинин—«Под знаменем Врангеля», «Революция в Крыму». Журнал Крымск. Истпарта, Курган—«Страницы гражданской войны».

27. Верховский, А. И.,—полковник. Назначенный Временным правительством главнокомандующим Московским военным округом, ответил отказом Корнилову на приказ о присоединении к нему. 30 августа был назначен Керенским военным министром с производством в генерал-майоры. Перу Верховского принадлежат воспоминания о революции 1917 года, изданные под названием—«Россия на Голгофе».

28. «Окопная Правда»,—газета, издававшаяся большевистской партией для солдат фронта. Закрыта была Временным правительством одновременно с «Правдой» и другими газетами РКП в июле 1917 года, но, несмотря на то, продолжала выходить.

29. Саша Черный—сатирический буржуазный поэт.

30. Чехов, Антон Павлович,—родился в 1860 году, умер 2 июля 1904 г. Талантливый писатель сатирик и драматург.

31. Львов, Георгий Евгеньевич, — министр-председатель, князь. Член IV Гос. думы. Октябрист. Председатель союза земств и городов.

32. Казачьи войска, вернее генералитет казачьих войск, образовали отдельный союз, который находился в связи с к.-д. и монархистами. От имени Совета союза казачьих войск выступали представители чистой реставрации. О деятельности союза казачьих войск в октябре см. «Красный Архив», кн. 10.

33. Борьба с Временным правительством во время Октябрьской революции в Ленинграде развернулась вокруг Зимнего дворца. Члены Временного правительства заперлись там под охраной юнкеров и женщин-ударниц. После небольшого сопротивления и обстрела холостыми снарядами с «Авроры» и боевыми с Петропавловской крепости, дворец был взят. Взятие Зимнего дворца описано у многих мемуаристов. Настроение и оценка событий сторонниками Временного правительства дана в воспоминаниях Синегуба—

«Защита Зимнего дворца», «Архив Революции», том IV, и Малянтовича в журнале «Былое». Описание взятия дано у Джона-Рида «10 дней, которые потрясли мир», и в ряде воспоминаний разных авторов в 10-й книге «Пролетарской Революции».

34. На Московском Госуд. Совете Корнилов в своей речи заявлял, что если его требования о милитаризации тыла не будут удовлетворены, то фронт не сможет держаться, т.-е. вынуждал у оборонцев уступки интересам обороны. Требования Корнилова не были выполнены. Тогда 21 августа командование сдало Ригу, а 23 августа Корнилов поднял мятеж.

35. Эзель—остров в Рижском заливе. После сдачи Риги и морского боя был оставлен русскими войсками и взят немцами.

36. В момент начала Октябрьской революции Керенский передал власть члену правительства, к.-д. Кишкину, а сам под американским флагом на автомобиле уехал из Ленинграда на фронт, собирать войска на борьбу с рабочей революцией. Об этом эпизоде сам Керенский рассказывает в своих воспоминаниях, изданных под названием «Гатчина».

37. Петр I—император российский (1689—1725). В его царствование торговый капитал имел в нем верного слугу, ведшего целый ряд войн за торговые пути с шведами, турками, Персией. Марксистское освещение периода Петра I см. у М. Н. Покровского—«Русская История», том II, кн. 3.

38. Румянцев-Задунайский, граф, фельдмаршал. Родился в 1725 г., умер в 1796 г. Участвовал во всех войнах России середины XVIII столетия, особенно прославился в войнах с Турцией, где в битвах при Ларге (1770 г.) и Кагуле (1770 г.) одержал блестящие победы. Был генерал-губернатором Украины с 1764 г. до 1782 г.

39. Суворов, Александр Васильевич,—князь италийский, генералиссимус русской армии и генерал-фельдмаршал австрийский. Родился в 1730 г., умер в 1800 г. Выдающийся стратег, победы в битвах были с ним неразлучны. Во все время своего боевого военного поприща он не был ни разу побежден.

40. Кутузов, Михаил Илларионович, фельдмаршал.—Родился в 1745 г., умер в 1813 г. Боевой генерал, участвовал в войнах с Польшей, Турцией, Францией, под начальством Суворова и Румянцева. В войнах с Наполеоном I в 1805—1812 г.г. Кутузов командовал армиями. По требованию дворянства был назначен главнокомандующим в войне 1812 года. Был одним из крупнейших стратегов своего времени.

41. Ермолов, Александр Петрович,—родился в 1777 г., умер в 1861 г. Боевой генерал и полководец. Участник Польской кампании, участник войн с Францией эпохи Александра I-го. Главнокомандующий на Кавказе. Намечался декабристами в состав Временного правительства. Был близок к масонам. Отличался независимым характером, имел огромный организаторский талант. Оставил очень интересные и ценные для истории 1-й половины XIX века записки.

42. Скобелев, Михаил Дмитриевич,—генерал-ад'ютант. Родился в 1843 г., умер в 1882 г. Боевой генерал, участвовал в завоевании Средней Азии и в войне с Турцией в 1877 году. Прославился как талантливый стратег и организатор. Отличался личной храбростью. Выступал как политический деятель, представляя собой империалистско националистические вожделения русских правящих верхов.

43. Апухтин — поэт. Родился в 1841 г., умер в 1893 г. Поэзия его—чистая лирика, чуждая каких-либо гражданских мотивов. Апухтин—поэт отживающего барства.

44. Духонин, Николай Николаевич,—молодой генерал, исполнял обязанности главковерха с августа по 9-е ноября 1917 года. После Октябрьской революции сделался центром контр-революции. В Ставку к нему явились представители эс.-эр. и меньшевиков, пытаясь здесь образовать новое правительство с В. Черновым во главе. Отсюда велись переговоры с английскими и французскими послами. Духонин отказался подчиниться приказу С. Н. К. о перемирии и пробовал увезти Ставку со всеми делами на Украину, на территорию Центральной Рады. Был убит солдатами, вырвавшими его из рук конвоя. О событиях в Ставке в дни Октября см.: Лелевич—«Октябрь в Ставке».

Бьюкенен,—«Воспоминания дипломата», Шляпников «Октябрьский переворот и Ставка», «Красн. Арх». VIII и IX.

45. Комитет Спасения Родины и Революции образовался в Ленинграде в момент совершения Октябрьской революции. В него вошли активные противники пролетарской революции, руководящую роль играли эс-эры. Комитет решил образовать правительство в новом составе без участия Керенского. О первых шагах деятельности Комитета интересные сведения дают воспоминания В. И. Игнатова—«Некоторые факты и итоги 4-х лет гражданской войны».

46. «Аврора» — крейсер, моряки которого приняли энергичное участие в Октябрьской революции. Моряки с «Авроры» в дни Корнилова охраняли помещение Временного правительства, в октябрьские дни «Аврора» обстреляла, правда, холостыми снарядами Зимний дворец, где укрылось Временное правительство, и принудила его к сдаче. Матросы «Авроры» были активными сторонниками партии большевиков и подчинялись партийным директивам. «Аврора» не подчинилась требованиям Временного правительства и не ушла из Ленинграда. О деятельности «Авроры» в Октябрьской революции см. «5 лет Красного Флота».— Сборник, в нем воспоминания тов. Куркова, «Крейсер Аврора». «Аврора» упоминается и другими мемуаристами.

47. Савинков, Борис Викторович,—эс-эр-террорист. Злейший враг Сов. России. Участник Корниловского мятежа и целого ряда восстаний. Организатор убийства вел. кн. Сергея Александровича в 1905 году; он кончил службой в польской контр-разведке и бандитскими набегами на Сов. Россию. На фронте был военным корреспондентом. В 1925 г. был захвачен на сов. территории, был предан суду; публично признал свои ошибки и заявил себя сторонником Сов. власти. Был присужден к 10 годам тюрьмы. Покончил самоубийством в 1925 году.

Перу Савинкова принадлежат воспоминания о действиях эс-эровскойбоевой дружины и ряд романов, где он подводил итоги своей деятельности, бывшей все время одной сплошной ошибкой. См. «Конь бледный», «То, чего не было», «Конь вороной». Во время войны Савинков был оборонцем и патриотом. О деятельности Савинкова в нашей революции см. «Дело Савинкова». Отчет о процессе в Верхов. Суде Республики.

48. Гоц, Абрам Рафаилович,— член Ц. К. партии эс-эр., член Президиума Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов первого созыва. Активный враг Октябрьской революции. В октябре Гоц выехал в Гатчину, агитировал в войсках, призывая их на помощь Краснову. Обращался за помощью к английскому послу Бьюкенену. См. об этом Бьюкенен,—«Воспоминания дипломата». В 1918 году, как член Ц. К. партии с.-р., руководил борьбой с Сов. Россией, заключая соглашения с иностранными империалистами и устраивая террористические акты против руководящих лидеров РКП Судился и был осужден по процессу Ц. К. п. с.-р.

Об этом см. М. Н. Покровского.—Что установил процесс так называемых «социалистов-революционеров»? О деятельности Гоца и партии с.-р. в октябре, см. «Прол. Рев». № 2 (9). Вейгер-Холмейстер. «С Керенским в Гатчине».

49. Дан (Гурвич), Федор Ильич, — член ЦК РС-ДРП (меньшевиков). Член Президиума ВЦИК первого созыва. Ярый оборонец и враг Советской власти. Эмигрант и руководитель меньшевиков. В настоящее время выпустил за границй бессодержательные воспоминания под названием «Годы скитаний».

Под Ленинград навстречу Краснову Дан не выезжал, он организовывал борьбу с Октябрьской революцией в городе.

50. Викжель—Всероссийский железнодорожный союз. Его правление в момент Октябрьской революции пыталось вести самостоятельную активную политику, добиваясь соглашения между большевиками и соглашателями и грозя активно выступить против пролетарской революции. О деятельности Викжеля см. воспоминания П. Вомпе.—«Дни Октябрьской революции и железнодорожники». Москва, 1924 г.

51. Дыбенко, П. Е.—большевик-матрос. Энергичный участник Октябрьской революции и активный руководитель революцинного движения в Балт. флоте. Написал интересные записки о революционном движении во флоте

под названием «Мятежники». О роли Дыбенко в революционном движении флота, см. воспоминания В. Залежского. — «Борьба за Балтийский флот». Москва, 1925 г.

52. Рошаль, Семен Григорьевич,—вождь и руководитель кронштадтских матросов. Большевик. Революционную работу начал с 1912 года. В 1917 году после выступления 3—5 июля был арестован и заключен в Кресты, откуда был освобожден Октябрьской революцией. Расстрелян генералом Щербачевым на Румынском фронте в 1918 году. О деятельности Рошаля см. Раскольников—«Кронштадт и Питер в 1917 году». Об обстановке гибели Рошаля много материала дают извлечения из дневника Щербачева сына, «Летопись Революции», № 10, 1925 г.

53. Муравьев, Михаил Артемьевич,—полковник, левый эс-эр по партийной принадлежности. Примкнул к Октябрьской революции в момент ее совершения. Командовал армиями республики на Южном фронте в период борьбы с Центральной Радой и Калединым. Был послан на Волжский фронт против чехо-учредиловцев. Во время восстания левых эс-эр пытался поднять восстание и открыть фронт чехам. Во время этой попытки был арестован и убит в Симбирске. Во времена Керенского полковник Муравьев организовывал ударные батальоны. О нем смотри: Дыбенко — «Мятежники», Антонов-Овсеенко—«Записки о гражданской войне», том I.

54. Крыленко, Николай Васильевич,—помощник прокурора Республики. Старый большевик. Участник 1-го С'езда Советов. Был арестован на фронте за большевистскую пропаганду. Прапорщик военного времени. После отказа генерала Духонина подчиниться приказу Совнаркома о начале мирных переговоров был 9 ноября 1917 г. назначен главковерхом. После Брестского мира, в марте 1918 года, покинул эту работу.

55. Каледин, Алексей Максимович,—донской атаман с августа 1917 г. Корниловец. Выступал против солдатских организаций на Московском Государственном Совещании в августе 1917 г. Принимал участие в мятеже генерала Корнилова, пытаясь оказать ему моральную поддержку путем давления на Временное правительство телеграммами и материальную путем организации выступления казаков. После Октябрьской революции поднял восстание против советов на Дону, но, разбитый отрядами Красной Гвардии и оставленный казаками, частью признавшими Сов. власть, застрелился 28 января 1918 г. О Каледине и его движении см. «Пролетарская революция на Дону», том IV.

56. Ермак—казак, поволжский разбойник и завоеватель Сибири. Посланный в Сибирь торговым домом Строгоновых, нанявшим казаков для защиты своих земель от набегов инородцев, Ермак в 1586 году через своих атаманов предложил Иоанну Грозному взять Сибирь под свою власть. Ермак утонул в Иртыше во время битвы с татарами.

57. Бакланов—походный атаман казачьего войска. Принимал энергичное участие в боевых действиях против горцев в 50-х г.г., принимал участие во взятии Карса (в 1855 г.) и в усмирении польского мятежа (1863 г.). Родился в 1809 г., умер в 1873 г.

Цена 80 к.



СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Ленинград: просп. 25 Октября, 52, магазин „Книжные Новинки". Телеф. 5-45-77

Москва: Московское отд. изд-ва „ПРИБОЙ", Лубянский пассаж, №№ 47, 48, 49. Телеф. 2-24-09

